Валентина Талызина

Мои пригорки, ручейки

Воспоминания актрисы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Талызина не просто талантливая актриса, она талантливый человек: яркий, честный и очень принципиальный. Её жизнь похожа на гоголевский смех сквозь слёзы. В ней было много потерь и много побед. Талызина неисчерпаема. И было ясно: она должна написать книгу, потому что ей есть о чём рассказать. Она сделала это честно, талантливо и беспощадно. Талызина – актриса. И этим все сказано.

Фото: Владек Дарман (Москва – Париж), Влад Айнет (Москва, 2014) Никина Эрфене (Париж, 2009).

- Валентина Илларионовна Талызина
  -
  - Мои пригорки, ручейки
  - Послесловие
  - Из рецензий
  - Стихи, посвящённые Валентине Талызиной
  - Иллюстрации

Валентина Илларионовна Талызина
Мои пригорки, ручейки. Воспоминания актрисы

© Талызина В.
© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Мои пригорки, ручейки

Посвящаю эту книгу моей матери – Анастасии Трифоновне Талызиной

Воспоминания – это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются.

Роберт Стивенсон, «Остров сокровищ»

Воспоминания действительно волшебные, прав Стивенсон! Потому что в них оживают люди, которых уже нет. Словно наяву я вижу их лица, слышу их голоса. И происходит чудо: останавливается время, ушедшее навсегда.

Эта книга – путешествие по островам памяти, населённым моими воспоминаниями.

Я вспоминаю. Мне хочется смеяться и плакать…

Потому что ничего уже нельзя ни исправить, ни изменить, ни вернуть. Ведь жизнь пишется только набело…

Моя фамилия досталась мне от папы – Иллариона Талызина, и я никогда её не меняла, даже когда вышла замуж за художника Леонида Непомнящего. В начале я её не очень любила: буква «ы» в середине казалась мне слишком жёсткой. Мне нравились фамилии Стрельская, Раневская. Они звучали очень романтично. Чуть позже я поняла, что папа подарил мне замечательную фамилию. А потом – она редкая, и её обладателя ни с кем не перепутаешь.

Моя дочка Ксения, естественно, была Непомнящей. Мне тогда и в голову не приходило, что еврейская фамилия может как-то навредить ребёнку.

С пяти лет мы готовили Ксюшу к поступлению в Центральную музыкальную школу. Я купила пианино, к нам домой ходил педагог. Но экзамен на подготовительное отделение она провалила. «Как же так? – приставала я к педагогу. – Вы же её так хвалили!» И услышала в ответ: «Мне кажется, это из-за её фамилии…»

Когда мы с мужем расходились, я ему прямо заявила: «Мне ничего от тебя не надо, даже алиментов, вот только работать на твою еврейскую фамилию я не желаю!» Он ответил:

«Пожалуйста!» И Ксюша стала Талызиной. Потом она вышла замуж и взяла фамилию своего мужа – Хаирова. А её дочка, моя любимая внучка Настя – Талызина.

Если заглянуть в глубину веков, то можно узнать, что Талызины – известный дворянский род, ведущий своё происхождение от татарского мурзы, которого звали Кучюк Тагалдызин. Он вышел из Орды в 1436 году и приехал в Муром к Великому князю Василию Васильевичу (Тёмному). Затем этот мурза в крещении принял имя Иаков, а его фамилия Тагалдызин трансформировалась в более привычный русскому уху вариант.

Есть и другая версия происхождения нашей фамилии. Толызой на Руси называли большую дубину, оглоблю. Значит, кто-то из далёких предков отличался мощным телосложением.

В советские времена у меня был очень влиятельный однофамилец – Николай Владимирович Талызин, первый заместитель Председателя Совмина и одновременно председатель Госплана. Многие думали, что мы с ним родственники и я – его протеже. А мы даже не были знакомы. Когда начинались разговоры на эту тему, я не спорила.

Мой тогдашний сосед по дому Яков Голяков (к сожалению, его уже нет) написал книжку «Галопом за ускакавшей натурой», и там есть такой эпизод: «Талина фамилия (Яша звал меня Таля) в застойные времена многих, кто с ней общался, с панталыку сбивала – товарищи просили у неё словечко за них замолвить. Считали, что однофамилец, который был на самом большом верху, – её сродственник, а Таля (на то она и народная артистка!) не то чтоб от просьб открещивалась, но умеючи уклонялась, поскольку там у неё, конечно, никого не было. Разубеждать, однако, не хотела – пускай себе думают…»

С Яшкой была гениальная история. Кто-то мне дал две кассеты с американским фильмом, где Аль Пачино сыграл полицейского, которого внедрили в банду убийц-гомосексуалистов. Сначала он отказывался, потому что был натуралом, но всё же ему пришлось выполнить задание. Фильм мне дали только на ночь. Советская действительность!

Так вот, в финале герой Аль Пачино становится гомосексуалистом. Я просмотрела раз, потом ещё раз, но никак не могла уловить, в какой момент полицейский превращается в гея.

Иду к Яшке, который знал английский, и говорю: «Яша, я не могу понять, когда он переходит эту грань?» Яша ответил: «Пойдём, посмотрим!» И мы с ним пошли ночью смотреть этот фильм про гомосексуалистов. Оба были молодыми, к тому же Яшка отличался такой любвеобильностью… Но мы честно

смотрели фильм, и он мне сказал: «Так вот же, у него отец был таким, у него это сидело в крови!» Вроде как у него склонность к гомосексуализму имела наследственные корни и однажды она открылась.

До четырёх часов утра мы смотрели этот фильм. Потом смеялись, что вот дураки: смотрели фильм, а могли бы заниматься чем-то другим…

Его жена Лена работала в «Товарищ-кино», очень любила артистов и никогда плохо ни о ком не говорила. Она всех мирила всегда и вообще была потрясающая. Яша, конечно, любил компанию, друзей, женщин и был безумно остроумным. Я с ними дружила. Потом Яша тяжело заболел, что-то случилось с горлом, была операция, вставили трубку…

Я себя помню с двух лет. Мы жили в Омске. У нас была маленькая кухонька и большая квадратная комната. Отец учился в Промышленной академии в Москве, и мы с мамой жили вдвоём.

В тот день мама куда-то ушла. А у нас почему-то собрались гости: мужчины и женщины. Сидели на нашей кухоньке, узкой и длинной, похожей на пенал и освещаемой одной тусклой лампочкой. Я закрываю глаза и вижу картинку: всё тонет в табачном дыму, видимо, гости курят и очень громко разговаривают. Они шутят, смеются. А я стою рядом за столом, который кажется мне очень высоким, потому что я до него не доставала.

Видимо, мама поручила меня какой-то женщине из числа гостей. На плите варились сибирские пельмени. До сих пор помню этот густой запах. Я стояла у стола и наблюдала, как женщина вытащила из кастрюли горячие пельмени, от которых шёл пар, и поставила на стол. Мне положили на блюдце порцию пельменей, обмазанных горчицей. Я их, конечно, хватанула и тут же зашлась в крике, залилась слезами. А взрослые все захохотали, им было весело, что они добились своего. Я эти пельмени уже есть не могла, потому что во рту у меня всё горело. И меня, орущую, куда-то унесли, и потом пришла мама. Только тогда я успокоилась.

Своего деда по отцу я не помню, а мама его – моя бабушка Таня была из ссыльных поляков. Я её не видела, потому что она рано умерла. Она родилась в Семипалатинске. Её звали пани Галицкая. Она была чистая полька. Бабушкин отец был участником восстания Костюшко. После того как восстание было подавлено, поляков выслали в Казахстан и Западную Сибирь. Дети пани Галицкой – мой отец и его сестра – остались сиротами.

Мама обладала удивительной проницательностью: увидит человека и сразу скажет, что он из себя представляет

Мама вышла замуж за папу в Борисовском зерносовхозе. Говорили, что этот совхоз с хибарами барачного типа в тридцатые годы строили американцы, чтобы организовать образцовое хозяйство, которое будет давать рекордное количество пшеницы.

Мама работала в столовой, папа её увидел и влюбился с первого взгляда. Папа был очень красивый мужик – высокий голубоглазый шатен. Бабник, любимец женщин, с невероятной мужской харизмой. Папа имел удивительный подход к

женщинам. Он располагал к себе какой-то трогательной наивностью. Может быть, это шло из его сиротского детства, не знаю, но в женщинах он, наверное, будил ещё и материнские чувства.

Папа был старше мамы на десять лет. Когда они встретились, он уже имел семью: жену Улю и дочку. Но папе его семейное положение никогда не мешало. Он был законченный, неисправимый ловелас.

У мамы с папой родился мальчик Лёня, и в три месяца он умер. Я всегда знала, что у меня мог быть старший брат.

Мама почему-то называла моего отца «дурнородый Талызин», хотя все папины женщины, а у него только официальных жён было не меньше трёх, звали его Серёжей. Наверное, он им так представлялся. Возможно, это имя казалось отцу красивым и уж, конечно, не таким замысловатым, как Илларион!

Когда папа учился в Промышленной академии в Москве, он оставался верен себе: закрутил роман с преподавательницей, но всё-таки в Барановичи, куда его направили после выпуска, вызвал законную супругу – мою маму Подозреваю, что преподавательница отказалась уезжать из Москвы.

И мы с мамой отправились к отцу через полстраны из Омска в Западную Белоруссию. Тогда это называлось «присоединённые земли».

Мальзин. И. Г.

Мы поселились у поляков. Местные ненавидели коммунистическую власть, но свои чувства, естественно, не демонстрировали. Ненависть к Советам приходилось запрятывать как можно глубже, в самые потаённые уголки. Там она тихо тлела, редко прорываясь наружу.

В Барановичах папа работал начальником ОРСа, а мама заведовала кассой. Я знаю, что, когда подошли немцы и нам

пришлось эвакуироваться, моя честная мама, настоящая комсомолка, ключ от кассы забрала с собой, а деньги не тронула. Тогда никто не мог подумать, что война растянется на целых четыре года. Мама наверняка верила, что немцев отобьют и она вернётся на своё рабочее место. Ей казалось, что всё это ненадолго…

Домики в Барановичах были устроены по типу западных, к каждому прилегал участок. Мы приехали ранней весной и остановились у поляков. Когда родители уходили на работу, я оставалась одна. Наверное, хозяева дома за мной немного присматривали. Однажды я отправилась на разведку. Пошла по нашему участку, заглянула на соседний. Навстречу вышла женщина. Спросила: «Кто ты, откуда?» – «Вот я с того участка». – «Ну, девочка, тогда заходи к нам». Я зашла. «Как тебя зовут? Как твоя фамилия? А, так вы недавно приехали? А что ты умеешь делать?»

Я устроила этим людям целый концерт: пела и танцевала. Они меня угощали чем-то вкусным, я там распушила хвост от похвал. И ещё что-то рассказывала о себе, о жизни в Сибири. Они мной восхищались, говорили: «Какая хорошая девочка». Потом меня проводили на наш участок.

Отец уже пришёл домой. И мама тоже вернулась с работы. Я, видимо, долго гастролировала. И отец сказал: «Ты ходишь по чужим дворам, к евреям». Поставил меня в угол. Я стояла в углу очень долго. И когда отец выходил из комнаты, я говорила: «Мама, прости меня, я больше не буду!» – «Но тебя же папа поставил в угол!» А почему-то у него я не хотела просить прощения. Упрямо стояла в этом углу, уже надо было спать ложиться, а я всё стояла, показывая характер, и не просила у отца прощения. А к тем людям, моим первым зрителям, я больше не ходила.

В Барановичах папа, естественно, опять влюбился. Его избранницей стала полька Зося, жена белого польского офицера, смазливая, молодая, на пятнадцать лет моложе отца. Думаю, что дело всё-таки было не в возрасте. Скорей всего, виновата папина влюбчивость, а может быть, его польские корни сыграли какую-то роль, но новому чувству он не смог противостоять.

Мама каким-то образом узнала про очередное увлечение своего благоверного. Наверное, ей кто-то рассказал, мир не без добрых людей, а может быть, отец сам признался, но сцена, которая случилась на моих глазах, врезалась в память на всю жизнь, хотя я была совсем маленькой четырехлётней девочкой: отец стоит на коленях, хватаясь за мамины ноги, и громко умоляет: «Ну, сделай так, чтобы я не пошёл к ней!» Но мама,

гордая сибирячка, удерживать мужа не стала, отпустила на все четыре стороны. И как ни трудно ей пришлось впоследствии одной, она, по-моему, ни разу не пожалела о том, что не боролась за мужа и дала ему вольную…

Великая Отечественная война началась, когда мне было шесть лет. Войну мы ощутили буквально на второй день. Слишком близко она подошла. Нам надо было срочно эвакуироваться, потому что семью коммуниста немцы не пощадили бы. Я помню, как поляки сидели приклеенными к радиорепродуктору и слушали речь Гитлера. Может быть, они понимали немецкий язык, а может – нет.

Мой отец ушёл к своей польке день или два назад, а возможно, даже в этот день, и мы с мамой остались одни. Железнодорожный узел был уже разбомблен, и мама бегала и искала машину или какую-нибудь подводу, чтобы эвакуироваться. Тогда, в моём детском возрасте, я, конечно, не понимала, что это было безумно трудно. И она ничего не нашла.

Мама вернулась ни с чем, а я сидела и слушала речь Гитлера из репродуктора вместе с поляками. Мама пришла и сказала: «Всё, я не нашла ничего». Она была смертельно усталая, в каком-то отчаянии. «Я остаюсь, – повторила мама, обращаясь к полякам. Что вам будет, то пусть и мне будет». И тогда поляки ответили: «Пани, мы вам должны сказать, что вам и нам будет разное. Немедленно уезжайте, бегите, ищите подводу, любой транспорт и скорее уезжайте отсюда, потому что вас ждёт другая участь».

Если бы они нас не предупредили, мы бы, наверное, остались в Барановичах и нашли бы там свою смерть. Потом мы узнали, что на следующий день там расстреляли всех жён и детей комиссаров на главной площади города. Мы чудом спаслись, нас с мамой успели эвакуировать в Сибирь к её сестре.

А тогда мама опять побежала искать машину. Не знаю, сколько времени она отсутствовала: час, два или три, но потом она нашла полуторку Машина стояла возле дома. Мама спешно покидала что-то в чемодан, какие-то вещи из числа самых необходимых, схватила меня, видимо, взяла какую-то еду в дорогу, мы сели в полуторку и поехали.

Как-то миновали линию фронта. В полуторке были мамины сослуживцы. Мама – с этим ключом от кассы. Военные уже понимали, что происходит, они выходили из леса и кричали матом (мама мне закрывала голову и уши, чтобы я не ничего не слышала): «Отдайте нам полуторку, нам нужен этот транспорт!» В машине были всего двое детей: я и ещё какой-то мальчик. И всякий раз, когда военные тормозили нашу несчастную полуторку, взрослые брали нас на вытянутые руки и говорили: «У

нас дети!» Военные отвечали: «Чёрт с вами!» – и мы проезжали.

Мы приехали в Горки, и там нас бомбили, мы выпрыгивали из кузова, падали на землю. Помню, меня как-то прикрыл шофёр. Поразительно, но спустя годы, когда я уже стала актрисой, мне пришло письмо от этого человека, в котором он рассказывал, как всё это было. Конечно, я ему написала благодарственное письмо и, кажется, послала небольшие деньги.

В Горках мы сели на поезд. Ехали в теплушках. Там было много семей. Мы с мамой спали на полу, а столом нам служил чемоданчик. Сколько семей было в теплушке, я не помню, но там, что называется, плюнуть было некуда. Везде сидели, лежали люди. Женщины, дети, старики. Из Белоруссии до Омска мы ехали целый месяц. И где-то на Урале, на какой-то станции, может, это был Свердловск или какой-то другой большой город, людей сортировали, кому куда ехать. Спрашивали: «Куда вы хотите?» И мама сказала, что у неё есть в Омской области сестра. «Вот к сестре и поезжайте!»

Нас посадили в другой поезд, и мы поехали в Сибирь. Я совсем не помню, чем мы питались в дороге. Почему-то этот момент стёрся из памяти. Но в памяти почему-то осталось, как мама на каждой станции вместе с другими женщинами из нашей теплушки бегала за кипятком.

Однажды они отстали от поезда. Я сидела на своей «кровати» и думала, что плакать бесполезно. Плачь – не плачь, а слезами маму не вернёшь. Сегодня мне самой странно, что я в шесть лет уже была такой рассудительной девочкой.

Мне 4 года. Уже серьёзно смотрю на жизнь

Потом мама мне рассказала, что все отставшие женщины пошли к коменданту и устроили крик, что дети уехали, а они здесь… Их посадили на другой поезд, а наш остановили, и мама

вошла в нашу теплушку уже через четыре-пять часов, уже к вечеру… Она спросила: «А ты плакала, Валя?» – «Нет, не плакала. Я подумала, а чего плакать-то, разве этим делу поможешь?..» – Мама улыбнулась: «Какая ты умная у меня!» И я удивилась, что она так сказала.

Мы приехали к тёте Кате. У тёти Кати не было своих детей, её мужа звали дядя Вася, их фамилия была Гречинские. Дядя Вася был из деревни Бугаёвки, куда переселились украинцы по реформе Витте. Тётя Катя была чистая украинка, очень трогательная. Такая тихая, скромная, ласковая женщина.

Мама сразу пошла работать, и когда её не было дома, я оставалась с тётей Катей. Она всегда готовила какую-то украинскую еду: варенички, борщик. Вареники были с творогом или с картошкой.

Тётя Катя оставила глубокий след в моей жизни, я часто о ней думаю.

Я никогда никому не рассказывала, как мы жили в войну. Мы хлебнули лиха как все. Но это было время моего детства, а в детстве всегда много красок.

Часто вспоминаю мою первую учительницу в сельской школе Борисовского зерносовхоза. Софья Марковна казалась мне феей из сказки: высокая грудь, осиная талия, огромные голубые глаза и толстая пшеничная коса. Как эта женщина попала в Сибирь – бог весть… На меня она обратила внимание во втором классе, когда я заявила, что прочитала всего «Евгения Онегина». «Ну, расскажи, пожалуйста, о чём там говорится», – не поверила Софья Марковна. Я прилежно пересказала сюжет. «Может быть, тебе было жаль кого-то из героев?» – допытывалась учительница. И я призналась, что плакала над судьбой Татьяны Лариной.

Софья Марковна жила в таком же бараке, как и мы с мамой: веранда, комнатки и санузел. Мы были соседями. Учительница приглашала меня в гости, и я с удовольствием к ней ходила. Взбиралась обычно на огромную печку, напротив на стульях рассаживались «зрители» – сама Софья Марковна, её мама, ещё человека четыре, и я самозабвенно читала им сказки Пушкина. Декламация – мой любимый жанр, а тогда были первые опыты чтения стихов на публике.

Очень серьёзная девочка. Пионерка

Мальчишки из моего класса, предводительствуемые Васькой Щербаком, пронюхали, что я бываю у Софьи Марковны, и решили «ябеду» проучить. Они не знали, что я хожу к учительнице читать стихи, а вовсе не ябедничать. Подстерегли меня втроём у засыпанного снегом котлована и побили. Падая, я полетела в эту снежную пропасть. Думала, что никогда не выберусь оттуда.

Вся залепленная снегом, с разными зрачками: один больше, другой меньше, я предстала перед потрясённой мамой. Боли я не чувствовала, только страх и унижение. Смертельная обида на Ваську долго бередила мою душу. Даже когда после первого курса театрального института я приехала к маме на каникулы – без пяти минут артистка – и встретила Ваську, почувствовала, что та ненависть никуда не делась…

Мы с мамой держали корову. По-другому нам в войну было не выжить. Мама получала крошечную зарплату, алиментов от отца мы не видели, и молоко, конечно, спасало от голода.

Нашу первую кормилицу звали Зойка. Потом появилась Динка, немножко сумасшедшая. А Зойка была совсем другая. Серая, очень симпатичная, с мирным характером. Она хорошо доилась.

Сибирь, класс где-то 6–7-ой

Мама водила Зойку на водопой. Обычно на водопой водят лошадей, а тут корова. Но я не оговорилась. Всё было именно так.

В Борисовском зерносовхозе, примерно в полутора километрах от нас, находился котлован, где брали воду. Вода у нас была на вес золота. Питьевую воду привозили в бочке и продавали. Стоила она дёшево, ведро обходилось, наверное, в копейку, но всё равно приходилось платить. Мы наливали эту воду в какую-то бочку и очень бережно расходовали. Сначала чистой водой мыли голову, затем тело, потом стирали в той же воде, затем мыли ею пол. И в конце концов она становилась маслянистая, тяжёлая, чёрная. Но ни капли не пропадало! Это бережное отношение к воде у меня сохранилось надолго. Когда уже в Москве, в общежитии ГИТИСа, до меня доносился звук капающей воды, я всегда вскакивала, опрометью летела в кухню и закрывала кран. Я просто не переносила, чтобы вода текла просто так, в никуда.

В Омской области была сухая почва. Бурили скважины, вода находилась очень глубоко и была жутко жёсткая. Поэтому у всех жителей нашего совхоза были больные желудки. Это осталось на всю жизнь. Качали воду очень редко.

А скотину водили на водопой к котловану хотя бы один раз в день. Я помню, что стоял уже ноябрь, и выпал первый снег, белый, пушистый. Так много тогда намело. И мама по этому снегу повела Зойку на водопой. Идти было не близко, и мама выбрала какую-то другую тропинку, чтобы сократить путь, и провалилась вместе с коровой в какой-то старый колодец. Снег улёгся, и колодца не было видно, никто не поставил никакой знак. Но так как сруб колодца был небольшой, то корова провалилась не полностью, а только передними ногами.

Это 10-й класс

Мама поняла, что всё может кончиться очень плачевно. Пока их с коровой найдут, она успеет замёрзнуть. И она сказала себе: «Я хочу ещё пожить!», схватилась за коровьи рога и вытащила

себя из этого сруба. Почти как Мюнхгаузен. А корова осталась стоять в колодце, сама она не могла оттуда выбраться. Колодец был, по-моему, полон воды. И корова торчала оттуда – ни туда, ни сюда, мама с ней ничего не могла поделать.

Мама побежала в совхоз, каких-то мужиков попросила помочь. То ли они приехали с лошадью, то ли ещё с чем, но эту полумёртвую, дрожащую от холода и страха корову вытащили из колодца. Маме сказали, что если ей не удастся отогреть корову, та заболеет и помрёт. Сарай, где стояла Зойка, был холодный. И мама привела её в нашу комнату греться. Сколько была корова в нашей комнате, я не помню, но, по-моему, несколько дней мы прожили вместе с нашей кормилицей.

А потом каждый раз, когда корова телилась, всех телят мы притаскивали в эту комнату. У них ножки расползались, они ещё не вставали как следует. Мама держала новорождённых телят в нашей комнате у печки, чтобы они были в тепле.

Однажды жарким июльским днём маме дали лошадь и телегу – привезти копну сена на зиму нашей корове. Такое счастье выпадало всего один раз в сезон. И конечно, шанс надо было использовать. Мы взяли вилы и поехали. Мама загружала подводу слоями сена, а я, восьмилетняя девочка, полезла наверх, чтобы аккуратно укладывать сено рамкой по периметру, дабы оно не рассыпалось.

Мама подавала снизу, а я наверху пыталась утоптать сено. Жара стояла страшная. И я смертельно устала. Казалось, что вилы были налиты свинцом. У меня никак не получалась эта рамка. И мама на меня кричала. Боже мой, как она кричала! Она хотела уже сама взобраться наверх, но подвода была полнёхонька, и бедной маме оставалось только кричать на меня, такую неприспособленную. Всё-таки мы уложились в те два часа, на которые нам выделили лошадь.

Начинаю вспоминать эту нашу жизнь в сибирском совхозе, и такие картины встают перед глазами… Когда мы копали картошку и если, не дай бог, стояла дождливая погода – это был ужас. В Сибири не бывает долгой тёплой осени, там сразу становится холодно. И весь урожай картошки, мешков тридцать, наверное, мы засыпали в нашу многострадальную комнату. Укладывали её горкой от стены до печки – казалось, что вся комната была в этих клубнях. И мы жили примерно месяц с этой картошкой. От неё шёл такой специфический земляной запах… У меня были грязные тетради, пачкалась одежда – от картошки некуда было деться. Мама приходила с работы и начинала её сортировать: мелкую в одну сторону, крупную – в другую и только потом спускала её в погреб. Это всё было, конечно, только

в войну. В мирной жизни такого кошмара уже не было.

Жили мы очень скромно, питались однообразно. На столе были картошка, обязательно помидоры, но не красные, а зелёные. Они не успевали вызреть в короткое сибирское лето, их клали в бочку для засолки. И ещё в нашем меню значились огурцы. Естественно, иногда ели какое-то мясо. Больше никакой еды я не помню. Ни каш, ни фруктов я не знала.

Всплывает ещё одно детское воспоминание той поры. Я заболела, у меня была высокая температура. Мама меня положила на кровать, поставила стакан воды и блюдечко с вареньем из чёрной смородины. Я лежала целый день с температурой и ела деликатес – варенье.

Это была война моего детства. И мама, моя бедная мама, которая работала от зари и до зари…

Откуда у нас с мамой появилась эта кошка? Наверное, кто-нибудь принёс, а мама пожалела и оставила. Кошка была абсолютно непрезентабельная, самая обыкновенная. У неё даже имени не было. Кошка и кошка. Серая, гладкошерстная, в каких-то разводах и с длинным, тонким, как ниточка, хвостом. Она была похожа на вязаный шерстяной носок.

Не знаю, конечно, как сейчас, но тогда в Сибири гулять зимой было как-то не принято. Дойдёшь до школы и возвращаешься обратно. Мороз! Мама уходила с утра на работу, и до самого вечера я оставалась одна с этой кошкой. Она была моя подружка. Каким-то образом кошка умудрялась сбегать, чтобы встретиться с котом. Она рожала два раза в год.

В войну мы с мамой жили у Варвары Семёновны, которая пустила нас к себе в квартиру. У неё было две комнаты, одну, маленькую, она отдала нам, а сама с тремя девочками осталась в большой.

Я помню, как мама и Варвара Семёновна готовили что-то очень вкусное. Может быть, они пекли беляши. Из кухни плыл аппетитный запах, а в это время кошка ужасно орала за дверью – рожала. Мне было страшно, я не понимала, что происходит, а мама с Варварой Семёновной говорили: «Ну, ничего, ничего. А как ты думала? Так вот оно и получается». Кошка окотилась и сразу успокоилась и принялась вылизывать своих котят.

Иногда она приносила котят зимой. В доме была горячая печка, они лежали, развалившись на какой-то табуретке, возле печки, и когда они подрастали, я с ними играла в школу. У меня было два урока: физкультура и география. На физкультуре я цепляла котят на свисавшее с кровати покрывало, и они лезли к маме, которая лежала сверху. А на географии я заставляла их

«исследовать» нашу двенадцатиметровую комнату. Они всякий раз бежали к маме-кошке.

Когда я стала постарше, то до невозможности полюбила петь. Дурным голосом горланила любые арии. Уже не помню, врала ли я ноты. А кошка, моя верная подружка, была возле меня всегда. Она вскакивала ко мне на колени, поднимала голову и смотрела на этот орущий рот долго-долго. И я думала: надо же, ей нравится, как я воплю свои арии. А я всё больше оперные любила арии. Кошка сидела, сидела, смотрела, смотрела, а потом делала лапой раз-раз по моему рту, чтобы я прекратила петь. Вот тогда я понимала, что ей это не нравится.

Я помню, как однажды летом я дралась с девочкой, которая была меньше меня. Между прочим, я была не драчливая, а тихая и скромная. А тут мы с этой девочкой почему-то сцепились. Моя кошка, как всегда, находилась рядом. Вдруг она подошла к моей сопернице сзади, прыгнула и укусила её за икру. Та взвизгнула и стала кричать от боли и от шока: она не ожидала, что кошка тоже кинется в бой. Я схватила кошку и похвалила: «Защитница ты моя!» А девочка побежала к матери жаловаться, что моя кошка её покусала.

Так как я жила в совхозе, то умела всё делать: и дрова колоть, и полоть, и картошку сажать, и копать, и доить. Моей обязанностью было давать корове сено, чистить сарай и, конечно, доить. Я очень хорошо доила. Но всё это сельское хозяйство я не любила и пыталась внести хоть какое-то разнообразие.

Вторая наша корова Динка была бордовая, молодая и игривая. Я садилась на маленькую скамеечку и доила Динку. Чтобы не скучать, как-то взяла с собой кошку-подружку. Я её положила под вымя и из коровьей сиськи надаивала ей в рот парного молока. Она еле-еле глотала, но была рада и счастлива, что я с ней вожусь и она получает такую вкусную еду.

Однажды сижу на этой скамеечке одна и дою, и вдруг Динка как подскочит! Она прыгнула куда-то, задела ногами ведро, и я с этой скамеечкой – навзничь, а ведро на меня. Молока, к счастью, было немного, но оно всё вылилось на меня. Полный атас! Я не могла понять, что случилось! Это чудо, что Динка копытами не дала мне в лицо! Она была как сумасшедшая, а я встала вся в молоке и не знала, то ли к ней идти, то ли нет.

Потом соседи мне сказали: «Валя, мы видели кошку, она сидела на дереве». И я тогда поняла, что произошло. Дерево стояло за изгородью, а ветви спускались как раз туда, где я доила Динку. Кошка полезла по ветке и прыгнула корове на спину – она хотела быть ближе к процессу дойки.

Потом я, когда шла доить, стала закрывать кошку, потому что

помнила про коровьи копыта у моего лица.

После войны от моего отца, «дурнородого Талызина», как упорно называла его мама, по-прежнему не было никаких вестей. Мама не получала алиментов, ей всё труднее удавалось свести концы с концами. Она работала счетоводом с маленькой зарплатой, растила дочь и не могла даже получать пособие по потере кормильца, так как никакой похоронки на моего отца не получала. Он был жив, но что с ним и как – мама не знала. Она, конечно, его разыскивала, писала везде, но безуспешно: ни письма, ничего…

И кто-то надоумил её обратиться в органы, чтобы отыскать следы неверного мужа: там быстренько найдут жену белого польского офицера! И нашли в одну секунду, буквально в три дня! Маме сообщили, что Илларион Талызин проживает с Зосей в белорусском городе Орше. Мама незамедлительно отправилась туда и подала в суд, чтобы взыскать алименты.

Оттуда она привезла много вещей, и себе, и мне…

Однажды папа с Зосей написали мне письмо, чтобы я к ним приехала. Ответила я достаточно резко: «Где ж ты, папа, был до сих пор, пока мы с мамой мучились?» Наверное, моё письмо получилось очень красноречивым и резким, потому что папа мне даже ничего не написал в ответ.

Мы встретились с отцом лишь через двадцать лет, когда я уже была студенткой ГИТИСа. Он нашёл меня в Москве. Это был, конечно, шок. Папа стоял в дверях, подпирая косяк, грустный, неуверенный, смущённый. Я смотрела на него во все глаза и думала: «Господи, это мой папа!» Все обиды мои разом улетучились, и я повисла на отцовской шее, как маленькая девочка. «Валя, Валечка, – приговаривал он, – может, пойдём куда-нибудь покушать?»

Предложение мне понравилось, к тому же возобновлять и, кстати, прерывать отношения почему-то легче на нейтральной территории. «Пиши мне, а то грустно!» – на прощание попросил папа. С того момента он начал присылать мне немножко денег. Я ему писала редко. Иногда письма, чаще открытки. Особенно он любил получать открытки, когда я была за границей. Когда я ездила в Париж, обязательно покупала красивую открытку с видом и посылала отцу в Омск.

Он в Москву редко приезжал. Мы практически не виделись. У каждого из нас была своя жизнь, и, честно говоря, я не думала, что мы с отцом ещё когда-нибудь встретимся. Тем более что я перевезла к себе маму, а она о бывшем супруге и слышать не хотела.

Но когда мне было около 40 лет, я получила известие, что мой папа находится в психиатрической больнице в городе Могилёве, старый, больной, никому не нужный. И забрать его оттуда могла только я, родная дочь, которая носила его фамилию.

Я отправилась туда. Поехала втайне от мамы. Когда потом я рассказала ей всю эпопею с папой, она ответила в сердцах: «Да я бы легла у порога, но не пустила бы тебя. Тебе пришлось бы через меня переступить!» Такую обиду он ей нанёс. Она ведь его так и не простила.

И никогда не называла папу по имени, только «дурнородым Талызиным». У мамы не было другого мужчины, кроме папы, ни до, ни после.

Поэтому я сначала совершенно не представляла, куда отвезти отца. Мама прямо заявила: «Если ты его сюда привезёшь, я выброшусь из окна!» Я понимала, что она не шутит: одиннадцатый этаж! Мне пришлось написать в Омск папиной сестре тёте Лине: «Вы примете моего отца?» Она ответила: «Да, конечно, приму!»

…Главврач психиатрической больницы протянул мне руку и представился: «Главный сумасшедший!» Юмор я оценила. «Вы можете его забрать, – сказал доктор, – потому что у вас одна фамилия». Я спросила: «А что с отцом? У него психическое заболевание?» – «Нет, обыкновенное старческое слабоумие – деменция. Он у нас уже три месяца, и, знаете, его никто не навестил, а у него ведь семья: жена и двое детей».

Папа сказал: «Валя, ты понимаешь, мне надо в Брест, к Зосе. У меня там вещи». Мне кажется, что, несмотря на свой диагноз, он сознавал, что ни Зосе, ни детям он не нужен. Я ответила: «Папа, надо так надо!» И мы отправились в Брест.

Не знаю, какой была Зося в её молодую пору, когда папа, не посмотрев на её прошлое с белым офицером, ради любви к ней оставил семью и на годы позабыл меня, родную дочь, но я увидела пожилую, довольно полную женщину, ухоженную. Сказать, что она встретила моего больного отца неприветливо, – это не сказать ничего! Между ними пролетали искры какой-то жгучей ненависти. А я находилась в зоне этого высокого напряжения и смотрела на женщину, которая принесла нам столько горя.

Она бросала какие-то вещи, отец собирал. Я стояла как в столбняке. Не помогала. Зося сказала мне: «Да, вы можете его взять. Он ещё может быть у вас сторожем на даче». Потом помолчала и приготовилась произнести ещё одну фразу: «Ваша мама…» Я её перебила: «Моя мама не примет его, он ведь вас

предпочёл, а маму оставил!» Мне казалось, что в эти слова я вложила все свои обиды за мамину разбитую жизнь.

Наконец мы забрали вещи и отправились на вокзал. Папа поехал в Омск к сестре. Там он не скучал. Нашёл себе старушку, которая говорила: «Я так люблю Серёжу!»

Потом, когда у меня родилась Ксюша, мама повезла её в Сибирь – показать, где она жила, повидать родню. И мои родители снова встретились, а Ксюша увидела своего дедушку – в первый и в последним раз. Папа сказал маме одну фразу: «Вот тогда мы друг друга не понимали и сейчас не понимаем…»

У него была другая жена, на которой он женился уже в почтенном возрасте, в возрасте, приближающемся к восьмидесяти. Его избранница тоже оказалась пожилой женщиной. Называла его, как и все остальные, Серёжей. «Я не знаю, почему она вышла за меня. Машинка-то уже не работает!» – признался мне как-то папа. Эта жена, для которой «машинка» определяющей роли не играла, и хоронила папу.

О смерти отца мне сообщили родственники. Позвонила двоюродная сестра: «Мы без тебя хоронить не будем, прилетай!» Я сразу взяла билет на ночной рейс Москва-Омск. Лететь надо было после спектакля. В тот день я играла главную роль в спектакле, который шёл на малой сцене нашего театра, и пела песню из «Серенады Солнечной долины».

Так вышло, что я своего отца почти не знала. Всё моё детство и юность – это мама. Но всё равно известие о смерти папы меня оглушило. На душе было очень тяжело. В театре все, конечно, знали о моей ситуации. Ко мне бросился второй режиссёр, но я его остановила: «Пожалуйста, ничего не говорите! Ради бога, не надо меня утешать, а то я сейчас разревусь. Я должна отыграть спектакль».

Я успела на папины похороны. На поминках меня просили что-то сказать. И я сказала, что он был красивый мужчина, что его любили женщины, и он их тоже любил, а детьми не очень интересовался.

Папины дети от Зоей – мои сводные брат и сестра – пытались наладить какие-то отношения со мной, но как-то не сложилось.

А мама больше не вышла замуж. Был какой-то мужчина, который делал ей предложение, но она отказалась. Получается, что свою жизнь она посвятила мне, своей единственной дочери.

У моей мамы, Анастасии Трифоновны, характер был, конечно, непростой. Я бы сказала жёсткий. Она – коренная сибирячка, родилась в Сибири. А её старшая сестра, тётя Катя, которую я всегда очень любила, появилась на свет на Украине.

Мамины родители в 1906 году по аграрной реформе Витте уехали из Полтавской губернии в Сибирь. И они ещё захватили своих родителей. Деревня, в которой они поселились, называлась Бугаёвка. Я помню эту деревню и хату с земляным полом. Однажды мы приехали туда из своего совхоза, и собралась вся украинская родня…

Когда у меня был юбилей (не будем уточнять, сколько мне исполнилось), на Украине решили снять обо мне документальный фильм. И тут меня озарило: а что, если в Полтавской губернии, откуда родом мои бабушка и дедушка, тоже есть деревня Бугаёвка? Меня просто как молнией ударило! Ведь украинцы, построив в Сибири деревню, могли назвать её Бугаёвкой в память о милой родине! О своих предположениях я и рассказала приятелю, киевскому журналисту, редактору газеты Диме Гордону. И буквально через день он говорит: «Валь, в Полтавской губернии действительно есть деревня Бугаёвка!»

И мы поехали туда. Мы сделали не один, а два фильма, они имели большой успех на Украине. Когда я недавно кого-то провожала на Украину, подошёл какой-то пьяный, среднего возраста и говорит: «Валюта, дай я тебя расцелую…» Я поняла, что он видел этот фильм.

Поездка в Бугаёвку оказалась потрясающей. Режиссёр Володя, голубоглазый, высокий украинец, такой парубок четыре часа ставил мизансцену. А Дима сказал, что там меня ждёт сюрприз. Когда мы подъехали к площади, грянул хор! Все в украинских национальных одеждах! И эти мелодичные песни! Что я почувствовала в тот момент – не передать словами. У меня брызнули слёзы, я ничего не могла с собой поделать!

Потом мы пошли в клуб. Не могу сказать, что зал был битком, но люди пришли. И я со слезами на глазах рассказывала про бабушку и дедушку, про маму. Они все носили фамилию Дуля. Кстати, «дуля» по-украински – груша, а не то, что вы подумали.

И вдруг подошла одна женщина и сказала: «А вы знаете, моя бабушка помнит ваше семейство по фамилии Дуля. Они были зажиточные, в то же время очень скромные, интеллигентные и музыкальные. Они все играли на инструментах, пели». Вот такой неожиданный привет я получила с малой родины моих предков.

В этом селе сохранилась какая-то маленькая избёнка с крохотным сарайчиком. Я лазала там по репейникам, меня ребята снимали, и я рассказывала: «Да, вот такая хатка была, наверное, у моих родственников».

Потом они накрыли колоссальный большой стол. Дима мне рассказывал, что они с ним совещались: «Как ты думаешь,

Валентина Илларионовна не обидится, если мы не будем делать этот салат с майонезом?» Он ответил: «Да конечно нет». Стол был потрясающий. И когда Дима сказал: «Ребята, давайте я вам заплачу!» – они ответили: «Да ты шо! За шо платить, если всё наше, со своего огорода?»

Для меня Бугаёвка – это ещё и дядя Ваня, мамин старший брат. В сорок втором году он при мне уходил на фронт. Поставил всех своих четверых детей и меня на скамейку и с каждым прощался. Я тоже обхватила его шею, потому что отца я почти не помнила. Я так сильно прижалась к дяде Ване, что ему даже пришлось меня отрывать от себя.

Два маминых брата погибли, оставив шестерых детей. А дядя Ваня вернулся живой-невредимый и даже, по-моему, неконтуженный. И он стал главой всего нашего бабского клана. Не то чтобы он как-то особенно помогал, нет, но ощущение надёжного мужского плеча, конечно, было.

Началась послевоенная жизнь. Она делилась на колхозную и совхозную. В колхозе работали за трудодни и жили в полной нищете, а в совхозе всё-таки была реальная зарплата и можно было хоть как-то свести концы с концами. Тоже не бог весть что, но хоть что-то. И вдруг какой-то знакомый предложил дяде Ване бросить колхоз и перебраться на новое место. Он говорил: «Что ты пропадаешь в этой Бугаёвке? У нас ты будешь бригадиром!» И дядя Ваня бросил колхоз, оставил хату и с женой и четырьмя детьми уехал в новую жизнь. Но мужик, который его сманил, оказался не на высоте.

Не знаю, что там случилось: то ли дяде Ване не дали обещанной работы, то ли поселили в одну комнату – что-то пошло не так. И однажды приезжает человек оттуда к маме и спрашивает: «Анастасия Трифоновна, вы не знаете, где Иван Трифонович?» – «Как где? У себя дома!» – «Его там нет. Неделя, как пропал». И у мамы почему-то вырвалось: «Ну, если он что-то с собой сделал!..» Она знала его проблемы. Ещё через неделю дядю Ваню обнаружили в одном из заброшенных колодцев. Это был, конечно, ужас. Человек прошёл войну, но не выдержал мелких бытовых обид и, главное, подлости.

Мама не взяла меня на похороны, пожалела. Сказала: «Делать тебе там нечего!» – и уехала, а я страшно переживала. Ушёл из нашей семьи последний мужчина.

Дядя Ваня был очень добрый. Помню, как однажды зимой он привёз мне замёрзшее яблоко, которое я оттаивала на печке. И вдруг мне снится сон. Фантастический зелёный сад, полный этих яблок. И какие-то мужчины в белых рубашках и штанах стоят на лесенках и собирают яблоки в большие плетёные корзины.

Наверное, такие были на Украине. У нас в Сибири я таких не помню. Я стою у входа в сад, и подходит дядя Ваня. Я говорю: «Как у вас здесь красиво!» – «Ну, приходи к нам!» И тут я проснулась и спросила маму: «Мам, а в чём похоронили дядю Ваню?» – «По традиции всех утопленников хоронят в белом…»

Мама меня безумно любила. И я маму очень любила. Она ушла в 77 лет в Москве. И не было дня, чтобы я её не вспоминала: её лицо, её интонации. Последние годы мама жила со мной.

Меня часто спрашивают, почему я больше не вышла замуж после развода с мужем. Конечно, у меня были поклонники и я не раз могла устроить свою жизнь. Но я всегда понимала, что как бы я ни относилась к мужчине, мне не удастся ввести его в нашу семью. Это было невозможно из-за мамы и Ксюши. Но больше всё-таки из-за мамы. Она бы никого не приняла.

У неё был очень сильный характер. Мама приехала в Москву в 1960 году, когда я жила в подвале. Она поступила работать, всё было нормально. Когда я родила Ксюшу, мама приехала меня навестить где-то через месяц. Зашла в комнату и села… Я говорю: «Мам, ну ты пойди посмотри внучку…» – «А я не люблю детей в таком возрасте», – сказала она. При этом мама была директором яслей. А ей нравились дети постарше. Она посмотрела на маленькую Ксюшу и сказала: «Ну, ничего!»

Когда Ксюша была совсем крохой, мама мне не помогала. Она жила в той комнате, которую мне дал театр, отдельно от нас с мужем. Потом мама уже не работала, но помощи от неё не было, даже не знаю почему. Я делала всё сама. Но когда Ксюше было год и два месяца и встал вопрос, на кого оставить ребёнка, потому что мне предстояли гастроли, мама сказала: «Я возьму!» Она её забрала совсем. Я понимала, что отдаю своего любимого ребёнка, которого я родила, которого так долго ждала. Но я знала, что для мамы это будет смысл жизни. И я отдала Ксюшу. Она была с мамой года три, и потом мы с мужем въехали в её кооперативную квартиру в центре города. Мы стали обустраиваться. Я покупала какую-то мебель, кровати – обыкновенный советский вариант.

Помню случай, когда Ксюше уже было пять лет. Она не все слова говорила хорошо. И однажды, буквально в первый месяц нашей жизни в новом доме, мама отправилась за покупками. К тому моменту она уже изучила район. Полчаса её нет, сорок минут нет, полтора часа нет. И у меня уже страшные мысли в голове бродят и жуткие картины перед глазами проходят, потому что мама была сердечница, гипертоник. Прошло около двух часов. И я, подойдя к окну, спросила: «Господи, да где же это она?» А Ксюша ходила рядом и вдруг выдала: «Она пошла в

крематорий…» Я сказала машинально: «Ксюша, не говори тех слов, которые ты не понимаешь». Дочка возразила: «Почему не понимаю? Там жгут бабок, внучки которых не слюшаются». Вот это был перл. Я повернулась и с удивлением посмотрела на свою дочку.

Когда, наконец, пришла мама, я на неё накинулась: «Мама, ну где ты была?» – «Ой, Валя, я стояла в очереди, давали конфеты, я решила стоять…» Тут я вспомнила Ксюшин перл: «Мама, что она говорит?» Мама приложила руку к груди: «Валя, честное слово, я ей этого не говорила».

Мама не любила кошек, и поэтому та кошка, которая была моей подружкой в Сибири, оказалась первой и последней. Когда я приехала в Москву и мы стали жить с мамой, я не заводила кошек.

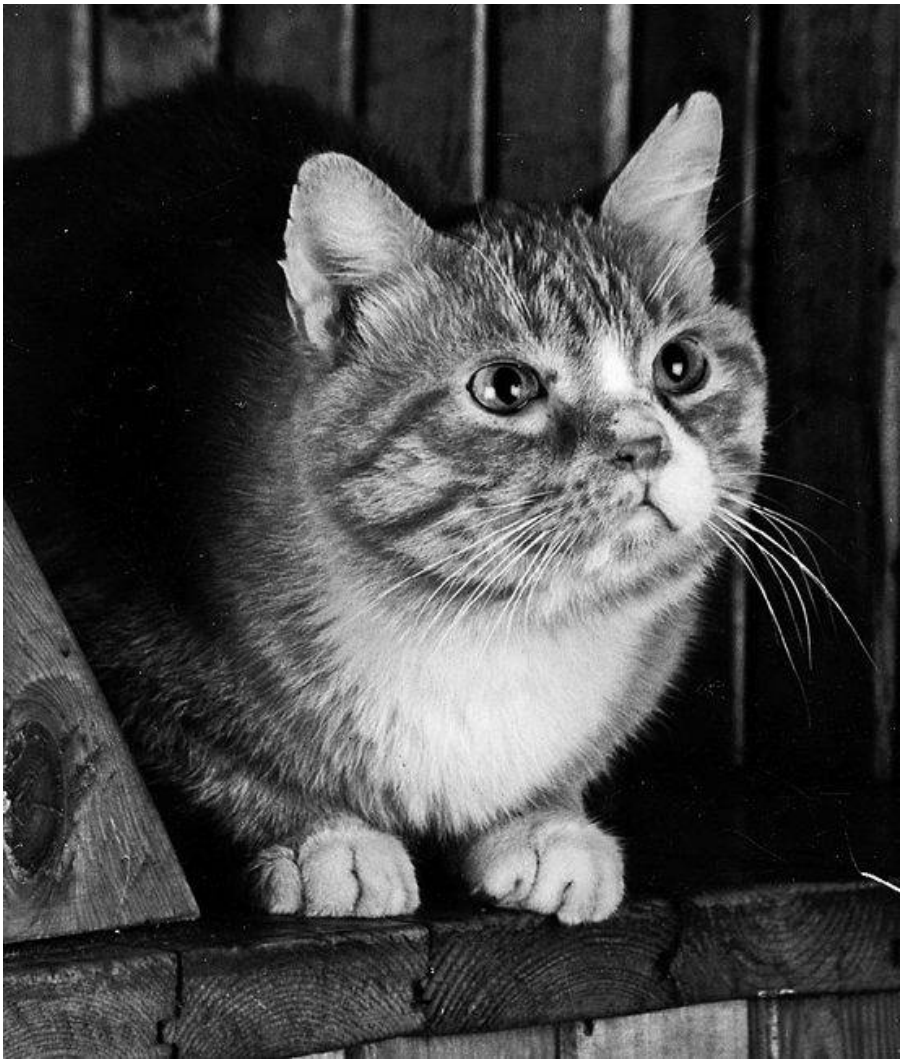
Мне кажется, что человеку надо иметь какое-то животное. У меня так получилось, что это кошки. Но мой затяжной роман с семейством кошачьих начался только после маминой смерти.

Когда мама ушла, а дочка вышла замуж, я почувствовала себя безумно одинокой, в депрессивном состоянии. И одна подруга дала на время своего кота. В моём доме появилось это бесхвостое существо: рыжий кот породы бобтейл. Красавец! Он мне безумно понравился, но потом подруга его, конечно, забрала.

И вдруг Лена Чернышова подарила мне точно такого же кота: без хвоста, рыжего, с белой мордочкой. Кот был сыном чемпиона мира среди бобтейлов. Он получил этот титул в Турции.

Подаренного кота звали Юстик. Лена меня сразу предупредила, что ему нужно сделать вторую прививку, но я почему-то об этом забыла. Я вообще довольно разбросанная. В результате Юстик стал хворым. И всю жизнь я его лечила. Ездила по всем ветеринарным клиникам, научилась делать уколы. Я его возила в сумке и оставляла дырочку для дыхания. Однажды летом он сидел в сумке, и вдруг разорвал молнию и… раз – выскочил на улицу! Я говорю: «Юстик, если ты сейчас уйдёшь, где ты будешь? Не надо тебе уходить». И он стоял. И никуда не пошёл. Я его взяла и посадила обратно в сумку.

Юстик был писаный красавец. Невозмутимый, мягкий и добрый – настоящий интеллигент! Невозможный, немыслимый, как на Украине говорят – кошак. Он был некастрированный, и, конечно, метил свою территорию, особенно весной – можно было топор вешать в доме! Но наступал дачный сезон, и я вывозила Юстика на природу. Там он совершенно преображался.



Это Юстик, моя дочь однажды сказала: «Больше всех ты любишь Юстика, потом Настю, потом уже меня». Я ответила: «Ты ошибаешься, больше всех я люблю Настю, потом Юстика, потом тебя».

Как-то он исчез. Я пошла его искать по всем дворам: вы не видели рыжего кота? Мне потом сказали, что через дорогу живет женщина, у которой пять кошек. Я спросила: «А собака?» – «Собаки нет!» Я захожу на участок: заросшая дача, такая настоящая подмосковная фазенда. Видимо, у хозяйки не было ни сил, ни желания её благоустраивать. «Здравствуйте, вы не видели здесь рыжего кота?» – «Без хвоста, что ли? Да тут он где-то

ходил».

Юстик лежал на крыше высокой сараюшки. Я его стала звать, он спрыгнул и пошёл по зарослям шиповника. И я, раздирая руки в кровь о колючие кусты, бросилась за ним: «Юстик, Юстик!» Он без звука повернул голову и ринулся в глубь зарослей. Я тоже кинулась в эти джунгли. Когда кот понял, что я за ним хожу, он вышел на полянку и наконец улёгся: мол, бери меня. Я забрала кота и посадила его на неделю под домашний арест. Закрыла в комнате. У него была еда, но всё равно он чувствовал себя как в тюрьме.

Я купила ему жену Зину у заводчиков. Пошли дети, а потом и внуки. За Зину я отдала прилично денег, но всё-таки она была выбраковкой: у неё не хватало одного зуба. А Юстик по своей деликатности или хвори не проявлял особой сексуальности. Но всё-таки у них случилась любовь, и Зина дала первый приплод – пять котиков! Они все были потрясающие, красивые до невозможности. Я часть котят дарила, а кому-то вполовину меньше продавала. Одного котёнка купила Елена Проклова.

Помню Ирину Исааковну, она была заведующей меховым ателье. Однажды она сказала: «Валя, я тридцать лет проработала в этом ателье, хоть бы мне рубль дали или гвоздичку!» Я ей обещала подарить котёнка. И когда она вышла на пенсию, я подарила ей кота от Юстика с Зинкой, такого же рыжего и без хвоста, как папа с мамой. Она мне потом часто звонила и говорила: «Валя, дочка обалдела от кота. Но, знаешь, он писает везде. Валя, что делать? Он и какает везде, мы ходим всей семьей за ним и подтираем». Я ответила: «Ну, Ира, это же твой кот…» Они его потом кастрировали и все эти проблемы решили.

Отец Юстика хоть и был чемпион, писал и на телевизор, и на стол, и на подоконник. Юстик тоже это делал, и я его слегка наказывала. Лена, которая подарила мне моего кота, рассказывала, что вытворял его папа. Он мог лежать с ними под одним одеялом, а потом устраивался сверху и писал. Они спят, а он писает. Вот какой вредный. Юстик тоже, бывало, писал где хотел. Но все-таки телевизор он по-своему берёг, а на подоконнике были лужи. Мои разговоры на него не действовали.

Одновременно с Юстиком у меня был ещё кот Васька. Потрясающая парочка. Оба некастрированные. Жили бок о бок, вместе кушали, год всё протекало нормально, но как только приходила весна, в Юстике просыпалось что-то звериное. Интеллигентность слетала луковой шелухой. Он говорил «мяу», у него поднималась холка, потом вставала дыбом вся шерсть на спине, и он испускал воинственный клич. Васька, белоснежный красавец, смотрел на него как на идиота: мол, живем вместе, чего

ты? Я открывала в таких случаях балкон, и Юстик кидался на Ваську, Васька выбегал на балкон и стрелой взлетал на шкаф. Надо было это видеть! Юстик не мог так. Он в бессильной ярости вопил «мяу», а Васька сверху ему отвечал: «ню-ню-ню». Если перевести на человеческий язык, получалось: «Чего ты заводишься?»

На даче Юстик ввязывался в драки. Он вцеплялся когтями в соперника и всеми четырьмя лапами драл его. Наверное, дело в породе. Бобтейлов вывели искусственно где-то на Курилах. Говорят, в них есть что-то от рыси. Юстик рвал кота, который отваживался забраться к нам на дачу. Каждый раз шерсти было облако. Пытаясь их разнять, я подходила к ним с тапками непозволительно близко, как рефери на ринге, рискуя быть разорванной. Я же близорукая, и мне надо было видеть, кого я бью. Но я уже не помню, кого била.

А потом Юстик погиб. Случилось это на даче. Его страсть ходить по чужим дворам сыграла роковую роль. Однажды он перепрыгнул через соседский забор и нарвался на собаку…

Мы с моей подругой Таней Ермак (она – доктор медицинских наук, профессор, я её называю «пятый человек по СПИДу в России») подружились на почве любви к макаронам и котам. Я ей отдала одного котика, который был невероятно похож на Юстика. Когда я вхожу к ней в дом, он слышит мой голос и забивается под кровать, и не достать его оттуда никакими силами: бабушка пришла. Я Тане говорю: «Вы что, нарочно делаете, чтобы он меня не видел?» А она отвечает: «Ну как же – нарочно! Он так забивается, что невозможно его достать!»

Теперь мы делаем так: я, собираясь к ней и подходя к её дому, звоню ей (она живет на Патриарших прудах) и говорю: «Таня, я здесь». Она мне открывает дверь, я захожу, не говоря ни одного слова, а она уже ждёт с котом на руках! И тут уже я даю волю чувствам, тискаю его. А Таня стоит рядом со мной и говорит: «Ну, хватит, Валентина Илларионовна, хватит». Он живёт у неё с беленькой кошечкой – они целый день вдвоем одни, пока Таня на работе. Но кот просто потрясающий: такой же интеллигентный, мягкий и симпатичный. Когда она идёт на кухню, то он бежит впереди неё и заваливается на спинку, чтобы она гладила ему пузико.

Когда Юстик погиб, Зинка была беременная. Она окотилась, и я поняла, что больше таких котят не будет, и оставила себе мальчика и девочку. Получилась семья: Зина, Пацанчик (так мы его называем) и Ася. А потом у нас образовалась Нюрка.

Нюру я не планировала. Всё получилось случайно. У метро «Выхино» я увидела: стоит девочка с кошёлкой и продаёт котят. Котята довольно большие, явно старше двух месяцев, и один рыженький, а это моя слабость. Внутренний голос говорит: «Валя, у тебя уже трое, больше тебе не надо». Но подхожу как под гипнозом и спрашиваю: «Сколько стоит ваш котик рыженький?» Девочка отвечает: «Это не котик, а кошка!» Я второй раз в своей жизни вижу рыжую кошку и думаю: ну как же я уйду без неё? Спрашиваю ещё раз: «Сколько стоит?» Девочка говорит: «Да десять рублей!» Я даю десять рублей и забираю эту кошку.

С Нюрой, дома

Она с хвостом, на конце хвоста белый пушочек. Я назвала её Нюрой, потому что она у нас девушка из народа, не элитная. Но умнее кошки я в своей жизни не видала. Вот я сижу дома за столом, а мои кошки на балконе (он у меня закрытый) вроде бы как прогуливаются. Все, кроме Нюры. И я про себя думаю: надо Нюрку выбросить на балкон, а она раз! – и ныряет глубоко под диван, не достать никогда. Я только подумала, а она уже знает! Читает мысли!

Мои кошки не любят гулять на балконе, потому что я иногда про них забываю, и бывает, вместо часа они там гуляют два. И у них появляется ощущение, что их выбросили навсегда.

Когда я ложусь, элитные не приходят, а Нюрка приходит всегда. Нюрка – это фантастическая кошка! Она очень умная.

Случалось, что мои кошки приносили котят. Были у Нюрки, Барсенька тоже рожала. Так что я не знала, куда этих котят девать. Ни одного котёнка я не убила, не потопила, боже упаси! Сначала я находила людей, которые забирали их пристроить. И деньги я им платила.

А потом мы с моей подругой Татьяной Никифоровной Ермак нашли более простой путь – мы шли в метро, садились там на скамеечку, и я думала: «Ну всё, сейчас нас выгонят». Я надевала тёмные очки, а котят держала на коленях. И через час этих котят не было, люди их разбирали. Они спрашивали: «Сколько мы вам должны?», а мы в два голоса с Татьяной кричали: «Бесплатно! Но

дайте 50 копеек, рубль – так положено, надо дать символически».

Теперь у меня целая семья. И как в любой семье всякое бывает. Зина с Нюрой вот сегодня или вчера кричали друг на друга, у одной хвост есть, у другой хвоста нет. Но Нюра побеждает. Она поднимает лапу и так стоит с поднятой лапой: мол, сейчас ты получишь. И Зина уходит.

Рыжая бестия – это Ася. Она тут дралась с Нюркой и со своими родственниками: с мамой, с братом. Ей разорвали ухо. И теперь Ася – рваное ухо. А была такая маленькая, симпатичная, слабенькая кошечка, поэтому я её сразу стерилизовала. Может быть, по этой причине она и превратилась в бестию.

Из-за кошек даже пострадали мои отношения с соседями этажом ниже, семьёй Зиновия Высоковского. Он был председателем нашего кооператива, а его жена Любовь Ефимовна соответственно женой председателя. Люба – это песня…

У меня два балкона, и один не был застеклён, и весной оттуда вниз пошёл кошачий запах. Люба стала обнюхивать все стояки, которые держат её балкон и мой. И где-то учуяла пахучую протечку, хотя мы всегда чистили балконы. Любовь Ефимовна добилась, что всё правление нашего кооператива пришло ко мне и понюхало стояки: что, мол, вот какая Талызина – не убирает и не моет. Я однажды сказала, что не люблю мыть посуду. Так вот, в жёлтой прессе тут же написали, что у Талызиной гора немытой посуды.

По-моему, сексуальная мизансцена

Короче говоря, Любовь Ефимовна заставила их сделать эту проверку. Те сказали: да, пахнет, и мне написали целую претензию. Тут я уже разозлилась не на шутку. Поехала в санэпидемстанцию, влетела туда и сказала: «Девочки, я вас прошу, умоляю поехать со мной, пронюхать весь мой дом, всю

мою квартиру и дать своё заключение». Естественно, я этот стояк вымыла и вытерла. А котов к тому времени в Москве не было уже месяц – они, как обычно в весенне-летнюю пору, обитали на даче. Они у меня каждый год на шесть месяцев выезжают на природу.

Девчонки приехали, добросовестно пронюхали злополучные стояки и написали, что всё нормально. Выдали мне справку: про запах – клевета, у Талызиной чисто. И тогда я пришла в правление и бросила им эту бумагу. Больше они ко мне не прикапывались. Но потом наш очень хороший управдом Алексей Иванович мне сказал: «Давайте застеклим балкон, сделаем там корытцем линолеум, и все стояки будут в порядке». Так и поступили.

Когда я закончила десятилетку в Борисовском зерносовхозе, надо было куда-то поступать. Если бы я сказала в совхозе, что хочу стать артисткой, меня бы не поняли. И мы с подружкой поехали поступать в Омский педагогический институт. Но моя педагогическая карьера рухнула, так и не начавшись. Моя подруга Таня Чирко провалилась, но поскольку ей неохота было одной забирать документы, она сказала, что я тоже не прошла. А я по своей наивности и доверчивости даже не стала проверять списки.

Мы с Таней отнесли документы на экономический факультет сельхозинститута. Там я проучилась два года и поняла, что это категорически не по мне. Меня все время тянуло на сцену Я пошла в драмкружок, читала стихи Лебедева-Кумача, играла главные роли. И я стала в местном масштабе звездой, героиней. Валькой-артисткой меня не называли. Девочки там были суровые и завистливые, относились друг к другу настороженно. Но когда мне понадобились костюмы для роли Нади Ковровой, а у меня, кроме одной юбки и одной кофты, ничего не было, собирали гардероб всем миром.

В общежитии я жила в комнате на 18 человек. И однажды девочки решили водить блюдце, вызывать духов… Блюдце водили, водили, вызвали Пушкина, и великий русский поэт мне сказал: «Ты умрёшь». Потом уже, когда я поступила в театральный и встретилась с какой-то девочкой из нашего сельхозинститута, она призналась, что они незаметно двигали блюдце. Жестокая шутка. Так я впервые в жизни столкнулась с завистью, которая сопровождала меня всю жизнь.

Сельхозинститут. Пальто не моё

После второго курса у нас была практика. Пыль, жарища. Я водила трактор, что-то полола и думала о том, что если я сейчас же не уеду в Москву поступать в ГИТИС, то останусь в этих полях навсегда. Елена Васильевна Зайцева, заведующая Домом народного творчества, после моего выступления на слёте в Омском областном драматическом театре мне сказала: «Деточка, вам надо стать профессиональной актрисой!»

Господи, я ведь всю жизнь стремлюсь в этот облдрамтеатр в Омске, и ничего не получается! Как я ни просила: «Можно я приеду со спектаклем? Мне не надо никаких денег!» – нет, не приглашают!

А тогда я призналась Елене Васильевне, что хочу учиться, и она ответила: «А мы всё это сделаем. Я позвоню режиссёру, Анатолию Цыганкову, вы к нему придёте, он с вами порепетирует».

Так вот, я пришла к нему со своим материалом: Тургенев, Пушкин и Корнейчук – конечно, полная идиотка… А он особенно

и не старался, ну выбрала и выбрала, и провёл со мной шесть-семь репетиций. У меня не было денег, чтобы купить ему какой-то подарок. Я перешла через железнодорожную насыпь и набрала ему букет полевых цветов.

Спустя годы, когда у меня были гастроли в Белоруссии, я играла уже Екатерину II в спектакле Виктюка «Царская охота», ко мне подошёл один плотный пожилой мужчина и спросил: «Вы меня не узнаёте?» Естественно, я сказала «нет», ведь прошло больше 50 лет. Он представился: «Режиссёр Анатолий Цыганков!» И тут меня будто молнией озарило: «Боже мой, это вы… Спасибо вам большое, вы недаром со мной занимались!» Я уже была народной артисткой, и спектакль был потрясающий. Графа Орлова играл Голобородько, Маркова уже не было…

Тогда он всё-таки меня подготовил к прослушиванию, но надо было ещё как-то освободиться от летней практики, и мы с мамой придумали, что она даст мне телеграмму, по которой меня отпустят. Мы ехали с ней в кабине грузовика, и я спросила: «Ты хочешь, чтобы я поступила?» Мама подняла на меня глаза и сказала: «Да». И я подумала: поступлю! Поехала без документов штурмовать ГИТИС, где, на моё счастье, был дополнительный набор.

Я приехала на Казанский вокзал с чемоданчиком, в мужской тенниске и клетчатой юбке. Остановилась у своей троюродной сестры. Когда она узнала о моих наполеоновских планах, подняла брови: «Валентина, это тебе не по плечу!» Но, несмотря на безнадёжное напутствие сестры, я поехала утром в ГИТИС.

Влетела в здание и напоролась на красивую женщину скандинавского типа по имени Дагмара. Она была то ли латышка, то ли литовка. Когда я объявила ей, что приехала из Омска и у меня нет аттестата зрелости, она строго сказала: «Отойдите и не мешайте работать. Есть у вас аттестат, нет у вас аттестата – не морочьте мне голову!»

Я отошла и встала посреди вестибюля. А у входа на моё счастье сидела старушка, худенькая, голубоглазенькая, с редкими волосиками. Она, наверное, слышала отповедь Дагмары и видела моё опрокинутое лицо. Пожалела меня, наверное, и посоветовала: «Вот сейчас пойдёт директор института, и ты возьми его за руку». И пошёл этот нахохлившийся директор, Матвей Алексеевич Горбунов, одно плечо выше другого, шевелюра с проседью, очень мохнатые брови и голубые глаза. Я его схватила за полу и сказала, что я из Омска, что у меня нет аттестата, я учусь в сельхозинституте и хочу стать актрисой. Он спросил таким гундосым голосом: «А что вас тянет в мир искусства?» Я ничего не могла ему ответить: «Ну, вот тянет». – «Ну, приходите завтра».

Утром в платье из цветного крепдешина, которое мама мне сшила на выпускной вечер, я приехала на прослушивание. Запускали пятёрками. И опять там была эта Дагмара, которая меня, похоже, невзлюбила с первого взгляда: «Отойдите, девушка». Но Матвей Алексеевич сказал: «Нет, пропустите её!» Я вошла и села ждать своей очереди. Пошёл первый мальчик, второй. Наконец настала моя очередь.

Так как за моей спиной были три тысячи километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, всё-таки хорошо. Тургенева – это были какие-то описания из «Записок охотника», которые читать невозможно, стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из «Платона Кречета», мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура.

Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение – как, какой говор, откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные.

Я любила перед зеркалом покрутиться… И у меня была школьная любовь. Со второго по десятый класс я была влюблена в Вальку Грицая… Помню в детстве: как только наступала весна, апрель или май, я залезала под кровать и искала белые босоножки на выход.

Однажды я доставала белые босоножки, а во дворе меня ждала наша корова Зойка, которую я должна был а загнать за загородку. В это время её теленок улучил момент и стал сосать корову Потом откуда-то пристроился второй теленок чужой. Им никто не мешал, и они спокойно высосали всё молоко.

Когда я наконец откопала свои белые босоножки, пришла мама с работы, увидела телят, припавших к вымени, и всё поняла. Короче, она взяла верёвку и стала бить меня этой верёвкой при Вальке, он жил неподалёку. И я вышла в поле, сняв белые босоножки, и сказала: всё, я хочу умереть. Пусть я сейчас простыну… Я хочу от этого позора умереть.

В детстве я была очень влюбчива и смешлива. Моя первая настоящая любовь, Валька, был небольшого росточка, но чувство юмора у него было развито колоссально. А для меня эта черта в человеке всегда играла особую роль. Валька и учился хорошо, он считался одним из первых учеников школы. Этот мальчик мне очень нравился, но я, конечно, виду не подавала, и он сначала не подозревал о моём чувстве. В старших классах мы с ним стали ходить на танцы, и тогда он уже признался, что любит меня, то

есть у нас была взаимность.

А после окончания школы он как-то быстро, буквально скоропалительно женился. По-глупому, без любви. Завёл двух детей. А я уехала в Москву и поступила в ГИТИС. Казалось, наши пути разошлись навсегда.

Но однажды объявился Валька и пригласил меня в ресторан. Он к тому времени окончил какой-то технический вуз, работал на ГЭС и преуспевал по тем временам. Мы сидели в ресторане «Берлин», и он уговаривал меня выйти за него замуж. Валька клялся: «Всё брошу ради тебя». Но я уже училась в институте, а у него было двое детей. И я сказала, что не пойду за него. Весь стол был уставлен дорогой едой, он заказал ещё карпа. В голодные студенческие годы посещение ресторана для меня было событием крайне редким. Но я не притронулась к еде. Я сидела и плакала. А потом встала и пошла. Вот так всё и закончилось…

Я до девятого класса играла в куклы. У меня были театры: музыкальной комедии, оперы и балета, а также кинотеатр. Мама мне говорила: «Валя, ну ты хоть бы на танцы пошла». А я играла в театр, у меня были артисты. Я занавешивала окна и разыгрывала всё в полутемной комнате, в театре же всегда темно…

Моя влюбчивость, наверное, передалась мне от папы, который часто терял голову. В сельхозинституте я с ходу влюбилась в преподавателя немецкого языка. Он был похож на мешок: бесцветные глазки, ни ресниц, ни бровей. Влюблённость длилась две недели, потом она прошла как насморк.

Увлечений у меня было много, но все они оставались тайными, келейными. В ГИТИСе я потеряла голову от Вали Козлова, он потом стал мужем Люсьены Овчинниковой. Когда я ему лет через десять об этом сказала, он воскликнул: «Что же ты раньше молчала?!» А я даже не знала, нравилась ему или нет. Я ведь строгая была, неприступная. Настоящая недотрога. Ко мне просто боялись подойти. Это было, конечно, связано со строгим воспитанием мамы. А возможно, я ощущала себя старше своих однокурсников, хотя нас разделяли всего два года. Но эти два года учёбы в сельхозинституте действительно сделали меня взрослее.

Когда я поступила в ГИТИС, я словно в другой мир попала. Мне нравилось абсолютно всё. Поселили меня в общежитии на Трифоновке самой первой. Другие девочки ещё не приехали. А я осталась в Москве и до конца лета жила в этой комнате в полном одиночестве. Пять пустых коек – выбирай любую! Мне было 19 лет.

Тот август выдался пыльным, душным и жарким. По Трубной ходили трамваи. Я была так счастлива, что чувствовала крылья за

спиной: ведь я стала студенткой ГИТИСа, куда хотела, нет, мечтала поступить. Удивительно, но я и сейчас буквально в деталях помню всё, даже еду.

На улице какая-то женщина продавала странные зелёные ягоды на одной ветке. Я подумала: что это за интересные плоды? Подошла и спросила: «А что это такое?» – «Как что? Это виноград». Первый раз я увидела, что такое виноград. Виноград был дешёвый, я купила пять килограмм и отправилась в свою комнату.

Первый курс ГИТИСа. Я, Солодилин, Толкунов, Варвара Алексеевна Вронская и Охрименко.

В общежитии половицы ходили ходуном. По-моему, если шли по второму этажу, то на первом всё сыпалось… Здание строили пленные немцы. Это были времянки, сооружённые для строителей, ремонтировавших Рижский вокзал. Всё-таки немцы умеют работать: эти времянки хорошо послужили. И каждый год говорили, что общежитие должны снести, но я прожила там четыре года. В этих стенах на Трифоновке все жили: и Табаков, и Ефремов, и Виктюк… Кто там только не жил!..

Я пришла, вымыла все пять килограмм винограда, положила в какую-то алюминиевую миску и села есть. Этот виноград оказался очень вкусным. Я ведь никогда его раньше не ела. Может быть, в Омске его просто не было в продаже, но скорее, он считался непозволительной роскошью. В общем, за один присест

я съела почти всё, но ещё немного осталось, может, килограмм, может, больше… Миску поставила в тумбочку, легла спать. Утром встала, доела этот виноград и на всю жизнь его возненавидела.

Вот удивительная вещь. Когда я была в Ташкенте, перед самолётом оставалось время. Я вышла на площадь, а там горы этого винограда лежали. Каких сортов только не было! И «пальчики», и ещё что-то… Я выбрать не могла от изобилия. Постояла, полюбовалась, а потом подумала: что, в Москве винограда нет, что ли? И не взяла. Потому что как-то к нему была не расположена.

К началу учёбы заселились девочки, все оказались очень симпатичные, очень хорошие. Мы находились в предвкушении чего-то необыкновенного, чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Одна девочка была из Киева, вторая – из Саратова, третья – из Ленинграда, четвёртая – из Подмосковья, и я одна приехала из Сибири. Когда мы пришли на первое занятие в ГИТИС и сели кругом, то все девочки как по команде надели очки. И педагог, Николай Васильевич Петров, пришёл в полный ужас, что набрал слепых артисток. Он был аристократичный, лёгкий, общительный, душевный, его называли на французский манер Николя Петер.

Курс у нас получился фантастический. Мужики потрясающие: Вадик Бероев, Слава Богачёв, Володя Толкунов, Юра Кречетов, Володя Шурупов, Женя Терновский… Никого нет. Все рано ушли – пили…

У нас были прекрасные педагоги. Вспоминаю Варвару Алексеевну Вронскую, артистку Московского Художественного театра. Когда-то в молодости она была очень красивая женщина. Вот, пожалуй, она нас научила душевности, глубине, пронзительности и состраданию.

Умение глубоко копать материал – тоже от неё. И к сожалению, во МХАТе жизнь у неё не сложилась, потому что Владимир Иванович Немирович-Данченко не пропускал красивых актрис, а Варвара Алексеевна оказалась непреклонна. И поэтому она ушла преподавать в ГИТИС и дослужилась до того, что потом вела свой курс. Она вышла замуж, и у неё родились близнецы – мальчики, Аркаша и Алёша. К сожалению, они были неполноценными, хотя один из них, по-моему, даже поступил в университет.

С годами болезнь всё усиливалась. И бедная Варвара Алексеевна всю жизнь несла на себе трагическую печать. Мы все знали про мальчиков, но, конечно, не смели ничего сказать. Но потом уже, когда меня приняли в Театр имени Моссовета, Аркаша и Алёша пришли в моё общежитие. А я такая девушка смелая

была или даже безответственная. Одного из них взяла на спектакль. Потом Варвара Алексеевна мне звонила и говорила: «Валя, я тебе безумно благодарна, что ты Аркашу сподвигнула на поход в театр».

История эта странно закончилась. Потом я как-то потеряла из виду Варвару Алексеевну. Мы встречались, но не очень часто. Я всегда была ей благодарна за то, что в своё время она сказала обо мне: «Эту девочку надо взять обязательно».

И вдруг лет двадцать назад мне стали приходить толстые пакеты на адрес театра. В них были письма со сплошными каракулями: «Мамочка наша дорогая, мамочка, мы тебя любим…» Потом снова непонятные каракули. И каких-то два мужских имени. Я думала: боже, кто это? А письма приходили раз в месяц… Я позвонила в то почтовое отделение и сказала: «Знаете, мне пишут, как мне кажется, какие-то больные люди. Кто это? Вы же должны знать?» – «Нет-нет, мы не знаем…» И потом я подумала: боже мой, может быть, это Аркаша и Алёша пишут мне эти жалостные письма?

Первый курс ГИТИСа. Ваня Тюрин и я

И я пришла в поликлинику, которая стояла рядом с домом Варвары Алексеевны на Бронной, и задала вопрос: «А есть ли кто-нибудь, кто работает очень долго в этой поликлинике?» – «Да, есть…» И подошла старушка. Я её спросила: «А вот вы помните Варвару Алексеевну?» – «Да, конечно, помню и ребят её тоже

помню: Аркашу и Алёшу». – «А вы не знаете их судьбу?» – «Знаю, конечно. После смерти Варвары Алексеевны их тётка взяла. Варвара Алексеевна вообще жила в семье мужа, а тётка заботилась об этих мальчиках. Там была хорошая пятикомнатная квартира, шикарная, большая, с высокими потолками… Тётка дожила до 95 лет и потом ушла. А мальчиков отдали в дом престарелых. Один умер через месяц, а другой – через два месяца. Ну, наверное, им это помогли сделать». И я поняла, что письма мне писали какие-то совсем другие люди. А потом письма перестали приходить.

Если мальчики у нас на курсе выглядели роскошно – очень красивые, стройные – фантастические! – то девочки «подкачали». Все какие-то приземистые, маленькие, в очках. Выделялся среди всех мальчиков, конечно, Вадик Бероев. Сказочно красивый молодой человек. У него папа был осетин, а мама русская. Он не производил впечатления восточного человека. Большие светло-карие глаза, прекрасно очерченный рот, необыкновенная кожа… Конечно, все девочки на нашем курсе были в него влюблены, все без исключения. Но он, к сожалению, не обращал внимания ни на одну. К Вадику сразу приклеилось прозвище Граф. Вот он был Граф.

С ним очень дружил Толя Солодилин, маленький, хиленький – типичный русский интеллигент. У него был маленький вздёрнутый носик, большие серые глаза. Ну, Петя Трофимов. Оруженосец Толя и Граф. Они были вместе – не разлей вода и жили тоже вместе в Зачатьевском переулке. Боже упаси, никаких там мыслей! Вадик на четвёртом курсе женился на Элле Бруновской с курса старше. Это была пара потрясающей красоты.

Вообще на нашем курсе было мало романов. Только Юра Кречетов и Галя Ахрименко. А так все жили в отсутствии любви. Мы были поглощены искусством, сначала этюдами, потом отрывками. И всё это составляло счастье нашей тогдашней жизни. Мальчики не так сильно выпивали, в тот момент ещё не было этого.

Когда мы проучились год и отправлялись на каникулы, Николай Васильевич сказал: «Значит так, вы у меня все какие-то солдатки. Ребята – да, красивые, молодые, высокие, потрясающие. Одна Анжела женственная!» Анжела была москвичка, очень мягкая, красавица, конечно. «Вот вам задание: пожалуйста, найдите в себе женственность».

Николай Васильевич озадачил меня под корень. Женственность… А что это такое? – размышляла я. И долго всех спрашивала, что такое женственность? Смотрела на Анжелу: вот она женственная, а я не женственная, ничего особенного. И

потом, когда я приехала в Омск, я всех замучила своим вопросом. И никто не мог мне раскрыть эту тайну. Маму я даже не спрашивала. Она бы меня не поняла, подумала бы, что я над ней смеюсь.

ГИТИС на Первомайской демонстрации

И я спросила Елену Васильевну Зайцеву, которая год назад дала мне путёвку в творческую жизнь. Она была хороша собой. Худенькая, большеглазая, с каплей пряной восточной крови. Я сказала: «Елена Васильевна, вот дали задание – быть женственной. А что такое женственность?» И когда она потупилась, порозовела и с мягкой улыбкой призналась: «Я не знаю…» – я в тот же миг я поняла: «Боже мой, так вот она, женственность, передо мной стоит!»

Елена Васильевна сыграла в моей жизни особую роль, и я навсегда сохранила чувство благодарности к ней. Мой отъезд в Москву не прервал наших отношений. На каникулах я старалась навестить Елену Васильевну. Мы переписывались. Её мнение было для меня важно.

Удивительно, но мои письма она не выбрасывала, хранила. Наверное, они тоже для неё что-то значили. Несколько лет назад Елена Васильевна передала мне эти письма.

ПИСЬМА

Елене Васильевне Зайцевой

Здравствуйте, дорогая Елена Васильевна!

Казалось бы, что я опять не сдержала своего слова, не приехав к Вам. Я не в силах приехать к Вам, потому что погрузилась с головой в экзамены и сейчас благополучно «плыву», т. е. пока не провалила.

Спасибо девочкам – тянут! Приехать к Вам – значит отстать (это ещё не беда), но и вдобавок потерять всякую сосредоточенность к этим почвоведениям, физиологиям, т. е. думать о нашем разговоре – обо всём, но только не о предметах.

Если не провалю 19-го (на что очень мало надежды) немецкий язык, то приеду.

Извините, Елена Васильевна, за то, что отняла у Вас время, да и за всё (навязалась на Вашу голову).

Желаю Вам самого лучшего. До свидания,

В. Талызина

14.05.54

Приписка

Неоднократно вызывалась в ДМТ (Дом народного творчества) для подготовки (за счёт ДНТ) с целью рекомендации для поступления в ГИТИС.

Е. Зайцева

Здравствуйте, уважаемая Елена Васильевна!

Вот уже неделя, как я – студентка Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. Туры все прошла, экзамены тоже все сдала. Сдала-то я всё на «отлично», но тут не обошлось без руки директора, так что отметки не мои.

Уважаемая Елена Васильевна! Разрешите мне поблагодарить Вас. Вы мне подали мысль учиться в театральном институте, Вы не оттолкнули меня, когда я один раз Вас обманула. Вы столько переносили волокиты из-за меня, и Вы же познакомили меня с Цыганковым.

Я не знаю, что из меня выйдет. Я даже не обещаю, но я постараюсь, чтобы из меня вышла неплохая артистка.

В группе нас 25 человек. Художественный руководитель – Петров. Пока мне всё нравится. ГИТИСу в этом году исполняется

75 лет. Этот юбилей, наверное, будут отмечать.

Желаю Вам всего-всего хорошего.

До свидания,

В. Талызина

25 августа 1954 года

Здравствуйте, милая Елена Васильевна! Вы позволили мне Вас так сегодня назвать, потому что своим письмом Вы меня, я не знаю, как выразиться, к жизни вернули, что ли.

Ваша фраза писать Вам о моих личных делах даёт мне право рассказать Вам всё. Может, это и лишнее, но Ваше письмо принесло мне спокойствие, уверенность. Я сразу вспомнила Вас, всегда спокойную, уверенную в себе. У меня сразу поднялось настроение. Больше того, мне даже сейчас хочется сидеть в читалке и читать, читать. Нам дали страшно огромный список по зарубежной литературе, театру. У меня всё заброшено, только начато. Я, так сказать, предалась личным, сугубо личным делам. А вчера – крах! А вчера мне очень тонко объяснили, что двухлетняя дружба чего-то стоит и вряд ли её можно положить на весы с 15-дневным знакомством. Сегодня утром было одно из упаднейших настроений – и тут Ваше письмо!

Итак, я в институте.

Преподают нам мастерство актёра Докутович и Вронская. Народный артист РСФСР худрук Н. В. Петров уехал в Ленинград на постановку пьесы о Маяковском.

Проходим по мастерству эпизоды с воображаемым предметом. У меня этюд – развёртывание подарка с книгой. Конечно, надо адски много работать. Сначала у меня лично не получалось, этим я разбила многие мнения о себе. Сейчас всё улеглось. Все равны, и я среди всех ничем не отличаюсь – мне это страшно нравится.

Кроме мастерства нам преподают историю зарубежной литературы, историю зарубежного театра, историю изобразительных искусств, сценическую речь, музыкальную грамоту, танцы.

Литературу преподает Поль, театр – Галина Борисовна. Сценическая речь очень нравится. У меня, оказывается, сильный говор, придыхания, пение. Делаем артикуляционную гимнастику рта и произносим: «тидди», «тэдде», «тадда» и т. д. Очень нравится. Преподавательница строгая, волевая.

Был у нас вечер встречи со старшекурсниками, играл джаз, танцевали стиляги. Недавно нам выдали студенческие билеты, теперь ходим в театры. Я уже пять раз была. Два раза во МХАТе на спектаклях «Дяде Ваня» Чехова и «Домби и сын» Диккенса.

«Извините, пожалуйста» в ЦДСА. «Крошка Доррит», «День чудесных обманов, или Дуэнья» в Станиславского.

Конечно, МХАТ произвёл громадное впечатление. Какая простота, какая жизнь! Я после «Дяди Вани» была в невменяемом состоянии.

Вчера была в Доме актёров на открытии сезона. Тема была такая – «В преддверии съезда, разговор о драматургии». Присутствовали Самед Вургун, С. В. Михалков, К. Г. Паустовский, А. Д. Салынский, Ю. ГГ. Чепурин, А. ГГ. Штейн. Корнейчука, Погодина, Ромашева не было. Говорили о задачах по созданию советской пьесы. Михалков говорил об одноактных пьесах, что-де нам мало, что их ставит самодеятельность, нам хотелось бы, чтобы профессиональные актёры играли. Понравился Ю. П. Чепурин (работает при ЦТС А). Сказал о недостаточном внимании к молодым драматургам, о недостаточном контакте и близости театра (гл. режиссера Попова) с драматургом. Сказал, что «охладевают сердца».

Потом был концерт мастеров искусств. Особенно понравились выступления Исаевой, Флиера – профессора, он прелюдию Рахманинова исполнял.

Скоро Театр имени Маяковского начнёт сезон. И скоро мы будем участвовать в массовых сценах «Гамлета» Шекспира. Вот тогда-то я Вам отпишу. Только вряд ли нам разрешат.

В Москве была предельно мало, но теперь-то наверстаю.

Да, Елена Васильевна, ходит ли Ваш сын в форме? Здесь все бегают. Странно как-то.

Да, в Москве гастролировал польский театр. Наш курс не попал, профорг проморгал. Был один артист на мастерстве, но он только сидел и записывал.

Пока, до свидания,

В. Талызина

02.10.54

Здравствуйте, Елена Васильевна!

Я извиняюсь за свой поспешный отъезд, но товарищи-шофёры меня ждали дотемна. И было бы очень неудобно отказаться от их услуг. Доехала кое-как. Пришлось сутки быть в дороге, ночевали в пути. Как видите, я даже наказана.

Елена Васильевна! Я хочу продолжить наш разговор, вернее, мой вопрос, который меня серьёзно волнует. Я имею в виду последнее напутственное слово нашего Николая Васильевича, а именно обвинение в неженственности многих наших девочек. Я настолько занята этой «проблемой», что отказалась от своей давнишней мечты взять отрывок из «Бесприданницы». Лариса –

это идеал поэзии, грации, изящества, а я? Придётся ещё поработать над собой. А вот как работать и над чем, я не знаю. Помогите мне, пожалуйста, Елена Васильевна. Еоворят, что это врождённое качество, иногда я совсем теряюсь, потому что я выросла в отнюдь не утончённой среде. Свой совхоз я люблю, но это уже другая сторона. Елена Васильевна, может, Вам и неловко, но я всё пойму и ни на что не обижусь.

Отдыхаю хорошо. В совхозе все довольны мной, и все желают мне дальнейших успехов. Рады, что я у места наконец-то.

До свидания,

Валя

03.02.55

На втором курсе мы начали делать отрывки. Варвара Алексеевна дала мне отрывок из «Бесприданницы». Я играла Ларису, но роль у меня не получалась, я была какая-то деревянная. Руки, ноги – как неживые. И ничего у меня не выходило. Это была неудача…

Второй курс ГИТИСа

У нас были отрывки, которые делали педагоги, а были ещё отрывки, которые мы готовили сами. И тут почему-то, не знаю, кто посоветовал, но мы взяли «Офицер флота» Крона. Какой-то отрывок про ребёнка с этим офицером флота. Я предложила Вадиму Бероеву вместе репетировать. Скажу честно: конечно, я

немножко тайно в него была влюблена, это понятно, поэтому всё было здорово. Мы репетировали, репетировали, и потом, когда однажды пришёл Володя Шурупов, мы ему сыграли, ему понравилось: «Ребята, очень хорошо». Я согласилась: «Да, конечно, хорошо. Но есть один пробел». Когда Володя ушёл, я сказала: «Вадик, всё у нас хорошо, но у тебя нет чувства отцовства. На Арбате есть родильный дом имени Грауэрмана. Давай пойдём туда. Я сяду на скамейке напротив, а ты сходи и посмотри на чувства отцов». Он мне поверил, очень серьёзно это воспринял и пошёл туда, в роддом.

Долго он был там. Наконец пришёл и сел на скамейку рядом со мной. Я спросила: «Ты видел чувства отцовства?» – «Да». Наверное, он что-то увидел, понял и взял. Потом мы показали этот отрывок, он был самый лучший на экзамене второго курса. Вообще с пятёрками у меня было нормально. За весь курс обучения я схватила всего одну четвёрку – по ИЗО. Я всё вызубривала, упрямо зубрила эту живопись. Картин я не видела, альбомов с репродукциями у меня не было – приходилось долбить. Педагог закрывал имя художника, попробуй точно определить, чьей кисти работа! Помню, мне досталась Венера с зеркалом. Есть «Венера с зеркалом» Ватто, а есть Тициана. Педагог спросил: «Кто это?» – и я ответила: «Тициан!» Перепутала с Ватто. Мне было всё равно: Тициан или Ватто. Конечно, это называется «дремучий лес с изобразительным искусством»… Педагог пришёл в ужас и поставил четвёрку.

Иногда мне фантастически везло. Мы сдавали экзамен по зарубежной литературе. Перед смертью не надышишься, но я в последние секунды проглатывала страницы из учебника. И мне попалась на глаза какая-то довольно замысловатая фраза про Стендаля. Я её, конечно, запомнила. Тащу билет – Стендаль! И у меня с языка слетает та самая фраза. Преподаватель говорит: «Достаточно! Очень хорошо! Пять!» Сталинская стипендия была спасена!

Когда я стала студенткой ГИТИСа, сначала жить приходилось буквально впроголодь. Надо было как-то дотянуть до первой стипендии. Конечно, мама меня поддерживала как могла. Ее зарплата была 400 рублей – убийственно мало денег, и посылала мне чуть ли не половину. Как она сводила концы с концами? Это был ужас, нищета страшная.

Когда мы, пять девочек, выходили из института, то всегда заглядывали в магазин на Никитской, где продавались бутерброды. Мы брали только по одному, потому что на большее не хватало денег. Это был весь наш ужин. А завтракали и обедали мы в ГИТИСе. Чувство голода буквально преследовало. И когда я

приходила в комнату, тихонько начинала открывать все шкафчики и искать там неизвестно что… И Юля Косарева исторгала вопль: «Что ты там шаришься?! Ты же знаешь, что там ничего нет!» Шкафчики были пустые. Самое ужасное, что я это прекрасно знала, но подсознательно надеялась наткнуться на еду.

Этюд «Офицер флота». Героев и я

Я помню, как однажды выстирала и повесила своё полотенце на кухне, и оно исчезло. Полотенце у меня было одно, его дала мне мама. Я так рыдала из-за этого полотенца! И не важно, что негде было купить новое, и не важно, что не было денег, – важно, что мама дала мне полотенце, а я его так опрометчиво повесила, и его кто-то стибрил. У меня была одна юбка и одна кофта, одно пальто – всё было по одному.

Зубрила я изо всех сил, потому что мне нужна была стипендия. И на первом курсе я стала сталинским стипендиатом. Это было 780 рублей, очень большие деньги. Помню, ветчина стоила 3 рубля. И я получала стипендию все оставшиеся три года. Я была богаче всех. Голод закончился. И девчонки получали стипендию где-то рублей 200, а я – 780. Когда я пришла в театр, моя зарплата была 690 рублей.

Но шпаргалила я в институте просто неприлично. Я знала, что надо эти 780 рублей получить, и вела себя беззастенчиво. Шпаргалки были на верёвочках, на чулках… Часто сидела на экзамене до последнего, чтобы успеть переписать домашние

заготовки. И однажды мне преподаватель сказал: «Шуршите?..» – «Да». – «Сделайте так, чтобы не шуршало». Это было потому, что мне требовалась эта пятёрка.

А потом Борис Никифорович Докутович поставил на нашем курсе выпускной спектакль «Цимбелин» Шекспира. Я играла королевскую дочь – принцессу Имоджену, у которой была любовь с героем по имени Постум (Вадим Бероев), – это всё, что запомнилось в дипломном спектакле. Шекспировский текст достаточно труден, написан высоким ямбом, но спектакль получился темпераментным, ярким, сильным.

Ещё я играла в спектакле «Таланты и поклонники». Мне досталась роль прислуги Домны Пантелеевны. Моя героиня приходит на вокзал, вся в узлах и баулах. Я начинала считать эти

узлы, зал взрывался хохотом и аплодисментами.

Вот такие разные роли: одна – шекспировская героиня, принцесса, а другая – прислуга, которая пересчитывала тюки…

В самые первые дни моей учёбы в ГИТИСе я познакомилась с Ромой Виктюком. Помню, как в нашу комнату ворвался худенький юноша – студент второго курса Виктюк. Он влетел, окинул многозначительным взглядом всю нашу девичью компанию, скромно сидевшую на койках, и заявил: «Новенькие! А чего расселись? Пошли гулять по Москве!»

Он уже второй год учился в ГИТИСе и чувствовал себя москвичом. А мы были какие-то пришибленные, тихие. И мы покорно, как курицы, пошли за нашим гидом Виктюком. А он уверенно показывал нам город, магазины, остановки – всё, что могло пригодиться в нашей новой столичной жизни.

И так получилось, что все девочки потихоньку откололись от нашей провинциальной компании. У той, что из Подмосковья, завязался роман, киевлянки общались со своими знакомыми, ленинградка тоже почему-то отошла, а я приклеилась к Роме.

Он меня поражал своей внутренней свободой, самоуверенностью и какой-то безоглядной отвагой, граничившей с наглостью. Расскажу одну историю. В ГИТИСе есть высокая лестница, по которой летел Рома, а ему навстречу поднимался Завадский – художественный руководитель института. Мэтр остановился и сказал: «Молодой человек!» Но Виктюк нёсся дальше. Тогда Завадский взял октаву выше: «Молодой человек, я к вам обращаюсь! Почему вы не здороваетесь?!» Виктюк без паузы выдал: «А я вас не знаю!» И погнал себе дальше, а Завадский застыл в полном недоумении.

Рома заходил за мной и спрашивал: «Что ты сегодня вечером делаешь?» – «Ничего». – «Всё, идём в театр!» Он таскал меня по всем театрам. Мы ходили в Консерваторию и на концерты. Мой новый друг обладал уникальной способностью проходить без билета в любой театр. Клянусь: в любой! Для него не существовало закрытых дверей. Он брал барьеры с лёту.

Ромины уроки… Такое забыть невозможно. Виктюк научил меня ездить в троллейбусе «зайцем». Честно говоря, никакого удовольствия, кроме грошовой экономии, мне это не доставляло. Не знаю, как у моего напарника, но у меня нервы были напряжены до предела. Я жутко боялась контролёров.

Благодаря Виктюку мы посмотрели все балеты. Я видела Уланову, Лепешинскую, Стручкову – всех звёзд балета того времени. Обычно это происходило так: впереди с независимым, самоуверенным видом выступал Рома, а я прилеплялась к нему.

Когда контролеры кричали: «Молодой человек, где ваш билет?!», он окликал какую-нибудь женщину, которая прошла перед ним: «Марь Ивана, а где наши билеты? Вы разве их не предъявили?» – «Ну, так идите!» И мы как-то проходили в зрительный зал.

В нашей связке Виктюк, безусловно, был ведущим, а я – ведомой. Он командовал, а я подчинялась беспрекословно. И всё у нас получалось. Поскольку мы были студентами театрального вуза, нам полагались так называемые входные – со скидкой, а иногда и бесплатные билеты в мир прекрасного. Но мы почему-то не часто прибегали к этому легальному способу. Рома предпочитал правило буравчика.

Но в тот день всё развивалось по другому сценарию. В Консерватории давал концерт несравненный Гилельс. Уже с утра Рома поджидал меня с горящими глазами. Ему надо было во что бы то ни стало проникнуть в Консерваторию. Рома спросил: «Во сколько ты сегодня будешь свободна после занятий?» – «В три. А что?» – «Пойдёшь к Захарову и получишь два входных в Консерваторию. Там сегодня Гилельс. Буду ждать тебя в половине седьмого на входе!»

Всё это было сказано командным голосом, не терпящим возражений. И я послушно поплелась к Захарову. Там уже стояла гигантская очередь за входными. Я встала в хвост и через три часа ожидания получила эти бесценные билеты в Консерваторию. Что творилось на подступах к храму музыки – не передать. Счастливые обладатели билетов просачивались сквозь толпу страждущих. Казалось, вся Москва пришла на Гилельса.

Я даже не заметила, откуда появился Виктюк, этот чёртик из табакерки. «Билеты у тебя?» – по-деловому начал он. «Да, вот они», – ответила я, предчувствуя какой-то подвох. «Продавай!» – «Как?! – возопила я. – Если бы ты знал, какой ценой они мне достались! Три часа в очереди!» – «Продавай! Мы пройдём так. У меня есть отличная идея!» – «Через служебный вход?» – «Лучше!» – «Через боковой?» – «Лучше!» – «Ну не через люстру же!»

Что было делать? Мне страшно не хотелось ввязываться в очередную виктюковскую авантюру, но всё-таки спорить я не стала. В глубине души я всегда знала, что с этим человеком спорить бесполезно.

Я помахала в воздухе билетами, и моментально нашлись желающие их купить. А мы ринулись к входу. По обеим лестницам Консерватории плыли плотные людские потоки. Виктюк схватил меня за руку, и мы нырнули в толпу Контролёры проверяли билеты с двух сторон. Между ними была установлена белая ажурная загородочка с редкими прутьями. Виктюк на секунду тормозит и делает мне знак: «Лезь!» «Рома! Ты сошёл с

ума!» – закудахтала я, но он так сверкнул своими карими глазами, что я без особого труда протиснулась между этими прутьями, благо была девушкой субтильной, влилась в толпу и пошла в зал не оборачиваясь.

А у нас с Виктюком было неписаное правило: прорвавшись без билетов, мы делаем вид, что не знаем друг друга. Но тут за моей спиной послышались истошные крики. Я поняла, что мой подельник попался. Сделав ещё несколько шагов, позволила себе оглянуться. Это была картина маслом. За Виктюком гнались охранники вместе с администратором. Они преследовали его как вора-карманника, укравшего кошелёк. Я поняла, что Гилельса он сегодня не услышит…

Зазвучали первые аккорды, зал затих, все внимали музыке, и только мне было не до концерта. Как я ни злилась на Рому, но все мысли крутились вокруг него: поймали – не поймали? Сдали в милицию или просто выдворили?

Я еле дождалась антракта и пошла искать Виктюка. Вдруг увидела его блестящие глаза тушканчика, которые смотрели на меня откуда-то из-под перил. Ему удалось уйти от погони и пристроиться на ступеньках. Конечно, я не могла удержаться от упрёка. «Было же два билета!» – процедила я. «Молчи, маленькая, молчи…»

Второе отделение мы просидели на этих ступеньках и пытались получить удовольствие. Мне это не удалось, да и Роме, по-моему, тоже, даже несмотря на его страстную любовь к музыке. Мы оба так перевозбудились, что не могли прийти в себя.

К слову, эти несанкционированные прорывы в театр Виктюк станет практиковать и уже будучи известным режиссёром. Только теперь он будет их устраивать на свои спектакли специально. И со «Служанками», и с «Мадам Баттерфляй». «Маленькая моя! – похвастается он передо мной. – Двести человек прорвались! Представляешь?»

Он был неистощим на выдумки. Никогда не забуду, как в 1956 году в Москву приехал Жан Вилар, французский театральный актёр и режиссёр, создатель Авиньонского театрального фестиваля. Спектакли шли с аншлагом, в зал приносили дополнительные стулья, но мы с Виктюком не пропустили ни одного представления. Рухнул железный занавес, и мы заглянули в абсолютно другой – красивый, далёкий, недосягаемый мир. Мария Казарес в бархатном платье с неестественно заломленными руками в красных перчатках завораживала, околдовывала.

Однажды нам никак не удавалось притулиться. Толкнули какую-то дверь и оказались в девственно пустой ложе. Мы сели,

не веря своему счастью. Но после третьего звонка открылась дверь и вошёл французский посол со всем своим семейством. Виктюк отдал поклон, посол тоже. Я сжимала зубы, чтобы не расхохотаться на весь театр. На следующий день мы с Ромой опять направились в эту ложу, но нас выгнали.

Никто, ни один человек в мире не мог бы тогда предсказать, что Виктюк, этот провинциальный мальчик из Львова, взорвёт московскую театральную жизнь. Но уже в то время в нём ощущался мощнейший заряд, космическая энергетика.

Что скрывать? Конечно, я была в него влюблена. Вся моя природная влюбчивость хлынула навстречу этому мальчику. Я его обожала, и, видимо, это бросалось в глаза, потому что Галина Петровна Рождественская сказала мне однажды: «Валя, выходи замуж за Виктюка!» Я просто язык проглотила от изумления, а потом пробормотала: «Ну как же? Он ведь…» – «Ой, Валя! – засмеялась Галина Петровна. – Это всё пустяки. Главное – он свой!»

Странно, что я, девочка из Сибири, воспитанная в пуританстве и не знавшая до встречи с Ромой, что такое бывает, относилась к необычным пристрастиям Виктюка на редкость лояльно. И сегодня я по-прежнему считаю, что в любви человек имеет право быть свободным.

Вспоминается забавный эпизод. После киевской премьеры «Лолиты» была пресс-конференция. Народу – яблоку негде упасть! И мне приходит записка: «Не смущает ли вас то, что вы работаете в театре, где главный режиссёр любит мужчин?» Я, конечно, зачитала её вслух и сказала: «Главное, что он действительно любит. А разве это может смущать?» Зал не ожидал такого поворота. На секунду повисла тишина, а потом грянули аплодисменты.

Не знаю, как ко мне относился мой гуру. Кем я была для него: верной подругой или любящей сестрой? Мы об этом не говорили. Точно одно: без Виктюка, его искромётных выходок, фокусов мир потерял бы самые яркие краски. Это – наверняка. Я была готова ради него на многое. Очень на многое.

«Маленькая моя, – заговорщическим тоном зашептал этот змей-искуситель. – Сегодня мы с тобой двигаем в библиотеку. Там на третьей полке с краю стоит одна книга. Ты её сразу увидишь, даже искать ничего не надо!» Я похолодела.

Поездки «зайцем» на троллейбусе, прорывы в театр были цветочками, и ничего особо предосудительного я в этом не видела, но идея стащить книгу повергла меня в ужас. А Виктюк уже разработал план и сделал приготовления. Нужные книги он успел расставить так, чтобы их легко было взять.

Помимо книжки на третьей полке Рома подготовил пару томиков на второй и на четвёртой полках. На самом деле стащить книги было не так уж сложно. В конце узкого прохода между стеллажами сидела библиотекарша. Если один человек закрывал ей обзор, другой мог спокойно тырить.

«Рома!» – возмутилась я. «Маленькая, такие книги здесь никому не нужны. Их никто не читает. И пропажу вряд ли кто заметит! В этом нет ничего плохого, поверь мне!» – «Рома!» – Во мне всё клокотало. И тут Виктюк привёл последний аргумент: «Ну что ты заладила: Рома, Рома! Дробышева брала, и Терехова тоже. А тебе самой разве не хочется иметь какую-нибудь книжицу дома?»

Там была «книжица», которую мне так хотелось иметь! Воспоминания Павлы Леонтьевны Вульф, учительницы Фаины Раневской. «Так что ж ты думаешь? – удивился Рома. – Иди и бери!»

И я сдалась. Взяла три книги для Виктюка и одну для себя, ту самую. Спустя годы, когда мы с Фаиной Георгиевной репетировали «Последнюю жертву», она мне рассказала, что у неё раньше была эта книга, но кто-то взял почитать и не отдал. И тут у меня вырвалось: «Фаина Георгиевна, а мы как-то с Виктюком стащили „Воспоминания” из библиотеки». – «А у меня этой книги теперь нет…» Наверное, она думала, что я принесу ей свой трофей. Но я промолчала. Слишком дорогой была для меня книга Павлы Леонтьевны. Во всех смыслах дорогой. А надо было всё-таки отдать её Фаине Георгиевне.

Последняя жертва

Наши отношения с Ромой продолжились и после ГИТИСа. Он пришёл в Театр имени Моссовета и начал ставить спектакль «Вечерний свет». Как ни хорошо я знала Виктюка, можно сказать – вдоль и поперёк, но он опять потряс меня до глубины души. В то время казалось, что мы так и будем с ним идти рука об руку, но всё сложилось, конечно, иначе.

Если бы в тот момент мне сказали, что я сброшу своего кумира со столь любовно воздвигнутого моими руками пьедестала, я бы никогда не поверила. Но случилось именно так.

Когда я снималась у Сергея Бодрова в картине «Непрофессионалы», мне очень хотелось познакомить его с Виктюком. Думала, двум талантливым, но таким разным режиссёрам будет о чём поговорить. Пригласила их в гости, всё приготовила, накрыла стол. Приехал Бодров, а Роман Григорьевич не пришёл. Стал знаменитым…

Он был уже очень популярным, но у него не всё складывалось гладко. Новизна, острота, необычность – тогда это не приветствовалось. У Виктюка запрещали спектакли. Во Львове, в Киеве, в Твери (тогда город Калинин). И Виктюк пришёл в наш театр ставить «Вечерний свет». Успех был колоссальный, в прессе печатались отличные рецензии.

После этого спектакля Виктюку дали поставить «Царскую охоту». Сначала мне не предложили роль. Главные роли играли Маргарита Терехова и Леонид Марков. Играли они блистательно. А Екатерина II, которую мне так хотелось сыграть, досталась сначала Людмиле Шапошниковой, а потом Тане Бестаевой.

А затем вмешался его величество случай. Мила попала в больницу, Таня уехала в Америку И Терехова с Виктюком пошли к директору театра Лосеву просить, чтобы роль Екатерины II доверили мне. И Лосев, который меня не любил, всё-таки сдался.

Эту роль я играла долго, лет десять. И мне удалось внести в неё своё. Почему-то все изображают Екатерину с немецким акцентом. Конечно, в ней была немецкая кровь, но, читая дневники императрицы, я поняла, что она не позволила бы себе говорить с акцентом. Мне кажется, она смогла вытравить из своей речи отзвуки немецкого языка. Моя императрица говорила без акцента, но очень тщательно выговаривала слова.

Но рисунок роли придумал, конечно, Виктюк. И музыка для спектакля была подобрана гениально.

Легко и просто он вычеркнул из своей жизни Веру Петрошевич – подругу детства, одноклассницу. Вера относилась к нему с таким же придыханием, как и я. Когда во Львове убили мальчика Юру, которого Виктюк очень любил, Вера полгода каждое утро ходила с ним на кладбище. Она дала ему душевную поддержку в тяжёлый момент. Это дорогого стоит.

Вера была так предана Виктюку, что поехала вслед за ним в Москву. А он даже не поздравил её с юбилеем: ни звонка, ни телеграммы, ни цветка. Вроде бы трепетный, чувствительный человек – и так поступить с другом. Не понимаю. Это стало последней каплей в наших отношениях.

…Репетировали с ним спектакль «Бабочка… Бабочка…», как мне кажется, неплохой. Но Роман Григорьевич имеет привычку бросаться своими спектаклями. Что-то в «Бабочке» его не

устроило, и он легко переступил через нас, актёров, и через спектакль. Я перестала с ним после этого общаться.

Он, конечно, выдаёт время от времени какие-то перлы в присущей ему манере. То как-то бросил, что я была его пионервожатой, то где-то вообще залепил, будто я его небесная невеста. Но на меня такие вещи не действуют.

Мои партнёры по «Бабочке», молодые ребята, когда спектакль ушёл в небытие, заработали деньги в кино и пришли к Виктюку: «Роман Григорьевич, мы дадим вам деньги, только восстановите „Бабочку" или хотя бы дайте разрешение его играть и оставьте свою фамилию». Он обещал подумать. Думает. Как-то мне позвонили от него и пригласили в поэтическую передачу. Я ответила: «Пока он не решит вопрос с нашим спектаклем, я к нему на передачу не пойду!»

Коляда, я и Виктюк в Киеве

Виктюку я больше не звоню. Вспоминаю, конечно. Особенно на кухне, когда варю какой-нибудь из моих фирменных супов. Роме нравилось, как я готовлю, и он никогда не отказывался от домашней еды.

Виктюк безумно любил музыку, хотя не умел играть на фортепиано, но пока ехал покорять Москву на третьей полке общего вагона, каким-то чудесным образом выучил «Лунную сонату» Бетховена. Он до этого где-то запомнил комбинацию пальцев и играл, играл, пока за окнами плыли станции и полустанки. В общем, Виктюк боготворил музыку, а я, как бы

сказать подипломатичней, относилась к ней спокойно. На почве музыки мы подружились с прекрасным человеком – Галиной Петровной Рождественской.

Моё сложное отношение к музыке родом из детства. Прав был старик Фрейд! Если внимательно приглядеться и попытаться распутать клубки наших жизненных событий, встреч, поступков, все ниточки тянутся оттуда, из детства.

Боязнь музыки началась, когда я училась во втором классе. На новогодней ёлке я пела песню из трофейной картины «Серенада Солнечной долины». И всё бы ничего, но на том утреннике присутствовала педагог Александра Григорьевна Бриккер, которую мы, дети, боялись до судорог. Очень строгая, с искривлённой, шаткой, какой-то утиной походкой, она вселяла в нас ужас. Конечно, Александра Григорьевна была больным человеком, её мучили проблемы с позвоночником, но детям не свойственно вникать в такие вещи.

После утренника состоялся разбор полётов. Стоим мы: моя мама, учительница Софья Марковна, я, и Бриккер выговаривает: «Вы – не учитель! А вы – не мать! Вам нельзя доверять воспитывать детей. Как вы посмели выпустить ребёнка с любовной песней?!» Сегодня сказали бы, что это непедагогично, а тогда мы молча внимали школьному монстру. Слова падали на мою голову тяжёлыми камнями. Я чувствовала, что в чём-то виновата, но в чём – этого я не могла понять.

Когда мы с мамой вернулись домой, я легла в постель с высокой температурой и проболела три дня. У меня было сильное нервное потрясение. В результате на пении я поставила жирный крест, и долго-долго этот жанр был для меня абсолютным табу, включая не только любовные, но и любые другие песни. Я убедила себя, что у меня нет ни голоса, ни слуха.

Если по актёрскому мастерству я была настоящей пятёрочницей, то уроки вокала казались мне испытанием. Когда я, потупив взор, объявила Галине Петровне Рождественской, что совершенно не способна к пению, она мне ответила: «Девочка моя, нет таких людей, у которых нет ни слуха, ни голоса. Пойдём к роялю!» Я пропела первую гамму, и Галина Петровна ободряюще улыбнулась: «Ну вот! Голос есть!» Конечно, слух у меня был не развит, но через полтора месяца я уже взахлёб пела романсы Бетховена – ни больше, ни меньше. Для меня было главное – вступить.

Когда Виктюк в красках рассказал Галине Петровне, как он на третьей полке общего вагона разучивал «Лунную сонату», а потом сел к фортепиано и сыграл, наш педагог по музыке так растрогалась, что у нее брызнули слёзы из глаз.

Мы с Ромой стали приходить к Рождественской домой. Я была ей безумно благодарна за всё: за то, что она научила меня петь, излечила от застарелых комплексов, занималась со мной французским и нежно опекала. Иногда после занятий она водила нас в «Прагу» шикануть. Там угощала нас сосисками с капустой. Галина Петровна подкармливала меня и потом, когда я поступила в Театр имени Моссовета. Я жила в подвальной комнате в Каретном Ряду, в двух шагах от Рождественской, и иногда находила у себя на столике бутылку кефира и конфету. В этом человеке сохранилось так много нерастраченного материнского тепла! К тому же испортились её отношения с сестрой Натальей…

Сёстры Рождественские молоденькими девушками приехали в Москву из Нижнего Новгорода. Обе были музыкально одарёнными, но, как это нередко случается, абсолютно разными по характеру и даже темпераменту. Галина была очень эмоциональным человеком, увлекающимся, экспрессивным, а сестра, напротив, отличалась спокойным, рассудительным нравом. Вода и пламень! Галина аккомпанировала, а Наталья пела, и это у них получалось великолепно.

У Натальи случился бурный роман с дирижёром Аносовым. Она забеременела, но решила ребёнка не оставлять: отношения с его будущим отцом были сложными, к тому же ей не хотелось ставить крест на музыкальной карьере. Она понимала, что совмещать многочасовые занятия на фортепиано с заботой о младенце вряд ли получится. Но Галина уговорила сестру сохранить ребёнка, обещая помогать. Кто знает, как сложится дальнейшая жизнь, а малыш – это счастье материнства.

Наталья родила мальчика, которого назвали Геннадием. Сегодня знаменитого дирижёра, народного артиста Геннадия Рождественского знает весь мир. А ведь его могло не быть…

Галина Петровна очень полюбила своего маленького племянника. Наталья ездила на гастроли, а ребёнок находился на попечении сестры, обладавшей педагогическим талантом. Чтобы Гене было не скучно приобщаться к музыке, тётушка облекала занятия в игровую форму. Галина Петровна рассказывала нам, как выставляла перед ребёнком на пианино портреты великих композиторов, и спрашивала, кто ему больше всех нравится? И сразу следовало музыкальное представление, звучала «визитная карточка» автора.

Неудивительно, что ребёнок унаследовал от своих родителей абсолютный слух, а уж Галина Петровна души в нём не чаяла и ради «любимого Генечки» пожертвовала многим, отказавшись от личного женского счастья. Зато он звал её мамой Галей.

Конечно, Геннадий Николаевич окончил Консерваторию –

будущее было предначертано. Он стал знаменитым музыкантом, а между сёстрами будто пробежала кошка. Они не смогли поделить своего любимца. И у каждой была своя правда.

Мы с Ромой утешали Галину Петровну как могли, но всё равно это была рана незаживающая, которая беспрестанно кровоточила. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной, а мы старались ее разубедить и развеселить. Рассказывали ей о наших подвигах с безбилетными походами в театр. Она хохотала от души, а однажды даже решилась пойти с нами «на дело».

Когда Галина Петровна болела и лежала уже без движения, она всё равно старалась мне помогать. Мы репетировали! Вечером я закрывала двери, чтобы не разбудить маму с Ксюшей, которые уже спали, брала телефон и набирала номер Галины Петровны. Телефон был её единственной связью с миром. Наталья Петровна и Геннадий Николаевич отселили её на второй этаж, и она находилась там совсем одна. Перед этим переселением она спросила меня, девчонку: «Валя, уходить мне на второй этаж?» А я всегда, и тогда, и теперь, говорила то, что думала: «Галина Петровна, но ведь они же очень хотят этого…»

И она там лежала в одиночестве, неподвижная, забытая, в изоляции, в комнате, которую она называла «клеткой для канарейки». Вставать она уже не могла. За ней ухаживала приходящая женщина, стирала, убирала. Естественно, присутствовал запах, который бывает в комнате лежачего больного.

Так вот, я приходила домой после спектакля иногда в 11 ночи, иногда в 12, укладывала своих спать. И набирала номер Рождественской: «Галина Петровна, мне дали романс в театре!» – «Ну, давай, порепетируем…» И мы с ней репетировали по телефону. Она говорила: «Нет, нет, найди вот эту чёрненькую клавишу, правильно, вот эту, да…» И я, прижимая к уху телефонную трубку, наклонившись к клавишам, выполняла её указания: «Давай, давай, доставай точно…» И так мы с ней репетировали. И она была счастлива.

Она многое дала мне. Я всегда это помню и испытываю огромную благодарность. Это был человек, к которому я всегда могла обратиться. Однажды мне дали эстрадный номер, с которым надо было выступать в каких-то концертах. И я пришла к лежачей Галине Петровне, чтобы прочесть свой номер и услышать её мнение.

Она мне сказала: «Понимаешь, ты не любишь свою героиню, а ты должна её защищать. Зачем ты читаешь тогда о ней, если ты её не любишь?» У неё были потрясающие режиссёрские способности.

Даже Виктюк признавал, что она – его первая учительница по режиссуре. Она была фантастически творческим человеком.

Сижу я как-то в ГИТИСе на столе и смотрю зимний прогон другого курса. А рядом со мной устроилась какая-то маленькая чёрненькая большеглазая девочка. И я говорю вслух: «Прогон неинтересный, отрывки невыразительные…» – «Почему? – возражает моя соседка. – А мне понравилось. Очень романтично!» Я слышу какой-то акцент и спрашиваю: «А вы откуда? С какого курса?» – «Я из Парижа». – «Как из Парижа? Как вы сюда попали?» – «Я окончила Сорбонну, изучала русский язык, и мой педагог мне устроил полгода практики в Москве. Я работаю гувернанткой в семье третьего секретаря посольства Франции».

Её звали Элиана Жакэ. В тот момент я и представить себе не могла, как дорого мне обойдётся эта дружба с француженкой. Я ведь была наивной девочкой из Сибири. Мы подружились с ходу. Она хорошо говорила по-русски, но с акцентом. Я пригласила её в общежитие, и она с радостью согласилась. Элиана была очень деликатная, мягкая. Ей всё нравилось безумно, она обожала русский язык, нашу литературу, грезила Достоевским, любила поэзию.

Когда она приехала к нам в гости, мы спросили, что бы ей хотелось? Она сказала, что мечтает, чтобы с ней вместе читали русские стихи, походили по Москве.

Первый курс ГИТИСа. Играю горничную на пятом режиссёрском курсе

Ещё ей надо было сдать какие-то вещи в комиссионку, потому что денег не хватало, а хотелось съездить в Ленинград. У

иностранцев вещи не принимали.

Господи, о чём речь? Мы всё распределили: кто-то с ней читал русскую поэзию, кто-то – прозу, кто-то показывал Москву, кто-то сдавал её одежду в комиссионку. И конечно, мы, наивные провинциальные девочки, не подозревали, что дружба с иностранкой из капстраны была небезопасна.

Она приходила к нам каждое воскресенье. Всем сделала какие-то подарочки, сказала, что, если кому что нужно, её мама может прислать. Тут, конечно, посыпались заказы: кофточки, юбочки. Элиана брала за это сущие копейки. Мне достался какой-то потрясающий светлый костюм из джерси и ещё туфли бежевые. Это был наряд фантастической красоты. В общем, дружба у нас шла полным ходом.

Однажды мы с ней поехали в село Коломенское. Стоял февраль, холодно было безумно, я продрогла в своём пальтишке. Мы шли по какому-то полю до Коломенского на пронизывающем ветру. Элиана впереди по тропинке, а я – сзади. И тут я почувствовала на своей спине два глаза. Обернулась – никого.

Мы быстренько посмотрели Коломенское, моя француженка была в восторге. И, уже замерзшие абсолютно, приехали на «Октябрьскую», где находится посольство Франции. И Элиана пригласила меня в гости: «Пойдём, выпьем чего-нибудь горячего, отогреемся. Я сделаю горячий шоколад!» Горячий шоколад меня с ног сбил. Я, конечно, не стала отказываться от такого предложения, тем более что никогда не пробовала его. Мы прошли мимо будочки, где стоял охранник. Меня пропустили без проблем. Но я тогда не знала, что посольство – территория иностранного государства и ходить туда нельзя.

У Элианы была маленькая комнатка. Там царил беспорядок. Моей подружке некогда было убираться, потому что всё свободное время она проводила за стенами посольства. Мы выпили горячий шоколад, и она сказала: «Ты знаешь, мой хозяин тебя приглашает в гости к нам на обед, через неделю». О чём речь? Я тут же согласилась.

Сервированный стол, горничная – фантастика! Еда, я помню, была ничего особенного: курица, зелёный горошек, зелёный салат. За столом собралась вся семья третьего секретаря: жена и трое детей и мы с Элианой. Я была в восторге, что оказалась в таком обществе. После обеда подруга шепнула, что дипломат хочет со мной поговорить. Мы вышли, он сел и очень мягко сказал: «Мы очень рады, что вы пришли к нам. Нам приятно, что вы подружились с Элианой, она так восторженно рассказывает про ваше общежитие, про девочек, которые ей помогают. Мы благодарны вам. Но я должен вас предупредить, что вам ходить

сюда нельзя. Мы рады вас видеть, но у вас будут неприятности». Я вспомнила эти два глаза на спине, и у меня засосало под ложечкой.

Наша дружба продолжалась. И прогулки по Москве, и комиссионка, и походы в театры. Я доставала пропуски, и мы с Элианой ходили на все спектакли. И не то чтобы я чего-то ждала, боже упаси, но что-то стучало в мозжечке, и однажды мне сказали: «Ой, Талызина, тебя в отдел кадров вызывают!» Внутренний голос произнёс: «Вот оно…» И я потащилась как на плаху.

Кадровичка вышла, в отделе меня ждали двое незнакомых мужчин. Маленький, поджарый шатен Геннадий Григорьевич, а второй – плотный, мордатый, то ли Иван Степанович, то ли Степан Иванович. Они со мной разговаривали. Степан Иванович кричал и стучал кулаком по столу, а Геннадий Григорьевич изображал доброго следователя. Он спрашивал: «Она тут съездила в Ленинград, откуда у неё деньги?..» Я понимала, что про комиссионку надо молчать, и стала лепетать про походы в театр и чтение стихов: «Мы все с ней дружим, вся наша комната!» – «Те меньше были, а вы больше!» – стукнул по столу Степан Иванович. «Она девочка умная, она нам всё расскажет…» – увещевал Геннадий Григорьевич.

Им зачем-то был нужен почерк Элианы. Я принесла её записку. Они не отставали. Это был ужас. И я в панике ринулась к тёте Асе – Анастасии Бахтиной. Мы не состояли в кровном родстве, моя троюродная сестра вышла замуж за племянника тёти Аси. Но больше мне не к кому было пойти. Когда я ей рассказала про Геннадия Григорьевича и Степана Ивановича, умная тётя Ася, фронтовичка, прошедшая войну, дала мне совет: «На всё соглашайся, всё рассказывай, но ни в коем случае ничего не подписывай! Если ты подпишешь что-то, на тебе всегда будет висеть груз, они поломают тебе жизнь и сделают с тобой всё что захотят. Плачь, кричи, говори, соглашайся, всё что угодно, кроме подписи…»

Я поняла, что попала в ужасную историю. Просто-напросто влипла. Это всё было в 1957 году. Сталинская система ещё работала. Степан Иванович исчез, со мной остался Геннадий Григорьевич. Он назначал мне встречи раз в две недели. И снова возникал вопрос, чтобы я подписала какую-то бумагу.

Я прикинулась, что ничего не понимаю: «Геннадий Григорьевич, я и так вам всё рассказала. Вы в любой момент можете меня найти. Зачем мне что-то подписывать?» В очередной раз, когда мы встретились, я «включила актрису»: разрыдалась. Я очень хорошо рыдала, что-то придумывала на ходу. И Геннадий

Григорьевич меня отпустил. Эти переживания не прошли даром. У меня задёргался глаз, он дёргался беспрерывно. И когда я приехала на каникулах домой к маме, глаз всё ещё дергался. И мама сказала: «Валя, ты беременна?» Я ответила: «Если бы… хуже, мама…» – «Ну так в чём дело?» И тут я ей всё рассказала от начала до конца.

И моя хорошая, любимая мамочка, наивная, коммунистка и председатель поселкового совета, сказала: «Ну неужели они не видят, что ты – молодая девочка. Ну, познакомилась, ну ты же не искала её, ты шифр не давала ей и план советского завода тоже не передавала…» Мама отпаивала меня парным молоком. Утром и вечером я выпивала стакан молока от нашей коровы и после этого ночью благополучно засыпала. И почему-то это мне помогло. Я отоспалась, нервный тик прошёл, и глаз перестал дёргаться.

Потом была последняя встреча с Элианой Жакэ. Она мне сказала: «Я тебе дам адрес…» А тётя Ася ещё предупредила: «Забудь её навсегда, не вздумай ей писать…» Адрес Элианы я запомнила на всю жизнь: Сен-Жермен, рю Кассетт, 7. Конечно, я ей не писала, а она мне разок или два черкнула. Потом она написала книгу, где меня назвала Соней. Когда я приехала в Париж, мать Элианы кричала: «Это Соня, это Соня…» Но во Францию я попала только в 1965 году, когда мы сыграли «Дядюшкин сон»… Утица рю Кассетт жгла мне мозг.

В Театр имени Моссовета с нашего курса пригласили двоих – мальчика и девочку. Мальчика звали Вадим Бероев, а девочку – Валя Талызина. Нас выбрали Михаил Семёнович Никонов, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф и Борис Юльевич Оленин. Вот так, без знакомств, без денег я попала в один из лучших театров, где блистали звёзды первой величины.

Вадика мигом заняли в главных ролях, потому что он был очень красив, а моя сценическая судьба сложилась не сразу. Одна актриса сказала обо мне: «Пришла девочка непородистая, некрасивая, обыкновенная социальная героиня. Правда, с очень красивым голосом и очень профессиональная».

Где-то через год мне дали главную роль в спектакле «Первое свидание». А начинала я, конечно, с комсомолки в постановке «Далеко от Москвы», где у Вадика Бероева была главная роль. Я была немножко расстроена, потому что думала, что мне будут давать роли принцесс, но, видимо, сыграла хорошо, потому что эти комсомолки посыпались на меня просто как из рога изобилия.

Нина Русланова и я

В театре я получала смешные деньги – 690 рублей, это было, как я уже говорила, меньше моей сталинской стипендии в ГИТИСе. Когда приходилось совсем уж туго, я брала в долг у Ростислава Яновича Плятта. Он на меня немножко засматривался, хотя, конечно, я была не его тип: он любил женщин ядрёных. Плятт всегда давал деньги безоговорочно. Я брала у него деньги и говорила, что отдам, например, 15-го, а если в этот день не получила зарплату, подходила и обещала вернуть через день. Он всегда говорил: «Да, пожалуйста». И никогда не спрашивал про деньги. Бывало, ему и не отдавали, но я всегда возвращала долг.

Честно говоря, опять пришла нищета. Все артисты подрабатывали кто где: на радио, снимались. Только я сидела на одной зарплате. И вдруг меня как начинающую и способную артистку Игорь Ильинский пригласил вроде как на халтуру – в радиоспектакль. Я пришла. Чинно все сидели, читали. Ильинский был мной недоволен: «Вы не действуете». Я выдавила из себя какое-то действие. – «Нет, нет, вы не действуете…» И когда мы вышли, ассистентка сказала: «Вы знаете, Игорь Владимирович, к сожалению, должен взять другую артистку…»

Заработок мой рухнул. Я пришла домой, села и стала горько рыдать, что меня сняли с роли и что я не умею «действовать».

Помню, я рыдала и говорила: «Что же они меня бросили, как котёнка в море…» Это я упрекала своих педагогов, что они не научили меня «действовать». Рыдала я часто.

И то же самое произошло в инсценировке «Битва в пути». Мы репетировали сцену с Борей Новиковым, он играл рабочего завода, а я – Дашу-стерженщицу. Ничего не получалось. Пришёл Завадский и сказал: «Ты не действуешь, а тебе надо так-то и так-то…» Два-три слова, и вот уже сцена встала на место! И эту девочку я сыграла очень хорошо, обо мне писали. И в театре сказали, что пришла очень способная молодая актриса. «Битва в пути» шла и во МХАТе, там Нина Гуляева играла. Но наша «Битва» была лучше по всем статьям.

После «Битвы в пути» меня пригласил Мордвинов. Я пришла. Он со мной очень коротко поговорил: «Я не знаю, такая вы на самом деле или просто сыграли эту девочку. Но я вам советую не терять это…» В тот момент я ничего не поняла. Вышла и думала, что он хотел этим сказать. Потом я уже через много лет расшифровала смысл.

Юрий Завадский как-то объявил: «Мы приняли много молодёжи, наши корифеи должны быть наставниками молодых артистов». И Марецкая сказала: «Я беру Талызину!» В театре существовала традиция: когда приходили молодые артисты, мастера – Мордвинов, Марецкая, Бирман, Плятт – выбирали себе подопечных.

Тогда я стала понимать, что у нас в театре есть корифеи, а есть обыкновенные артисты. Звёзды, любимые всей страной, и целая плеяда неизвестных актрис. Сара Брегман, Наташа Ткачёва, Ира Соколова, Нелли Молчадская. Они были моими учителями.

Наташа Ткачёва репетировала со мной «Битву в пути». Атмосфера была потрясающая, очень творческая. Мы репетировали. Ирина Соколова приучила следить за своими руками, лицом. Сара Брегман говорила: «Мы обязательно с вами будем репетировать и петь «Кирпичики». Это романс из тридцатых годов». Я смущалась, объясняла, что не пою. «Неважно, – улыбалась Сара, – споёте, в вас есть что-то такое…» Мы не сделали эту программу, даже не знаю почему…

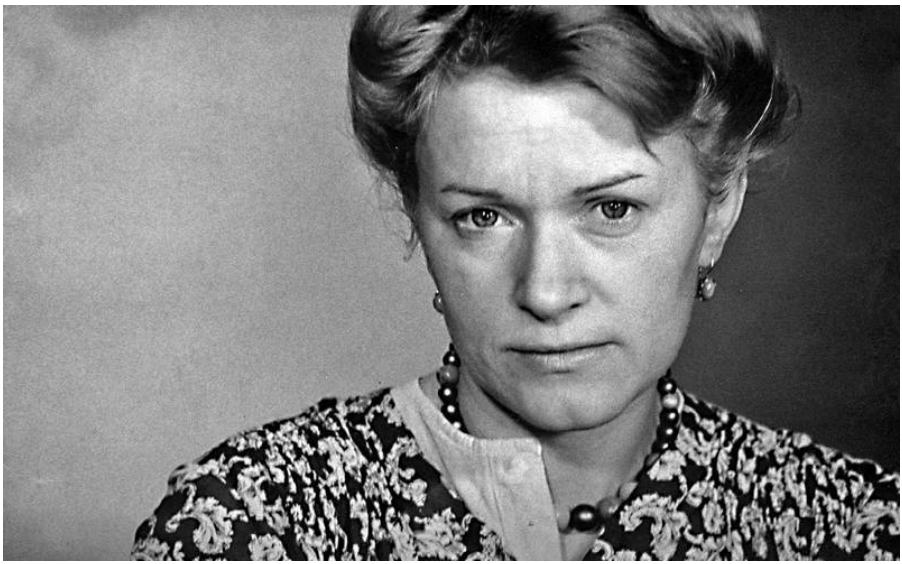
А как она пела в «Шторме»! Эта, грубо говоря, массовка играла божественно! Крошечные эпизоды артисты делали блестяще. Я сохранила к ним благодарность, уважение. Я видела жертвенное отношение к своей профессии.

Сара Брегман играла на пианино, окончила университет, прекрасно знала английский язык и стала артисткой. И в ней была безумная одержимость к нашей профессии, одержимость к репетициям. Я всё это видела в артистах, которые не были

знаменитыми, и поражалась. И училась у них, может быть, даже больше, чем у корифеев.

Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф говорила, что режиссёр тратит тонны слов, и лишь одно вдруг «пробивает» артиста, и он начинает искриться. Надо, чтобы «пробило». Причём совершенно неважно, какой ты артист – начинающий или многоопытный.

Кинопроба. Не прошла



Кинопроба у Германа Алексея. Не прошла, ему же хуже

Меня очень много пробовали в кино. Случалось, не утверждали. Как-то у меня была кинопроба. Пришла молодая энергичная режиссёрша и перевернула всю сцену. Я быстренько перестроилась, потому что понимаю: она – капитан корабля. Пожалуйста, я постаралась сделать так, как она считает нужным. Кстати, я ей дала свою концепцию сцены, но она сказала: «Нет. Это не совсем то. У вас уже всё готовенькое, а мне надо, чтоб вы наткнулись». Точное слово – «наткнуться».

Когда я пришла в театр, я была простодушная и наивная, все ко мне относились хорошо. В театре ценят, когда человек имеет способности. И если ты хорошо относишься к своей профессии, а ещё и способен и талантлив, то в театре многое прощают.

Что бы ни говорили про закулисные интриги и зависть, но в театре всегда ценят профессионализм. Мне одна актриса как-то сказала: «Валя, запомни: тебя всегда простят, когда будут знать твоё отношение к профессии. Вот ты опаздываешь, можешь нагрубить, – но тебя все простят за твоё служение театру». Я и сейчас так считаю.

Сцена – это вечный экзамен. Сколько отдашь, столько и

получишь. А бывает, что отдаёшь больше и больше, но ничего не получаешь. У меня были и головокружительные взлёты, когда зал грохотал от криков «браво», и жестокие падения.

Из-за своей несобранности я опаздывала везде и всегда. Это был полный ужас. Из Каретного неслась на Маяковку, куда уже переехал театр, и за четыре минуты долетала. И всё равно опаздывала. Но мне как-то прощали. И однажды, когда я в очередной раз влетела, Александр Дубов – потрясающий был актёр – спросил: «Ну, и какая же причина сегодня?» Я сказала: «Троллейбус сломался». Троллейбусы по моему ходу вообще не ходили. Можно было только пешком.

…Счастье моё было в чём? Комендант Трифоновки по ошибке сделал мне прописку ещё на год вперёд. Так что в Театр имени Моссовета я пришла с московской пропиской. Меня поселили в общежитии в Каретном Ряду. Когда-то здесь был настоящий каретный сарай с толстыми влажными стенами. Там и Бероев жил, и Терехова – вся молодёжь нашего театра. Окна были вровень с землёй, печное отопление. Мне выделили две отдельные маленькие комнаты, примерно 9 метров. В первой – стол и печка, во второй – тахта: матрац на четырёх ножках. Я прожила там шесть лет, лучшие годы своей жизни.

Год пролетел незаметно, и когда встал вопрос о новой прописке, я пошла к Юзефу Исааковичу Сосину, который заведовал всеми хозяйственными делами в театре. Он обещал поговорить со своим знакомым, можно сказать, другом – генералом милиции, который работал на Петровке, 38. Генерала звали Николай Трофимович Сизов. Он согласился мне помочь, но предупредил: «Я должен на неё посмотреть!»

Прописка в Москве – это было очень серьёзно. Всё равно как вытащить счастливый лотерейный билет, даже больше! Мне назначили время, и в десять утра я, принаряженная, явилась в большой кабинет на Петровке, 38. Молодой рыжеволосый улыбчивый генерал на меня посмотрел – и вопрос с пропиской решился. А Сизов впоследствии стал генеральным директором киностудии «Мосфильм».

Мир тесен. Спустя годы, когда я была уже заслуженной артисткой, меня не утверждали на главную роль в картину «Сцены из семейной жизни». Режиссёр Саша Гордон очень хотел меня снимать, но ему навязывали другую артистку. И сценарист Валера Строчков говорит: «Валя, идите к Сизову, вы же с ним знакомы. Скажите, что худсовет вас не утверждает, потому что вы театральная артистка». Я пришла, голос у меня дрожал: «Я хочу вас поблагодарить!» – «За что?» – «Вы когда-то давно прописали девочку из Театра имени Моссовета. Вы сделали это не напрасно.

Я стала заслуженной артисткой, но меня не утверждают на роль». Он говорит: «Идите, всё будет нормально…» И меня утвердили на главную роль. Николай Трофимович был немногословный, но дело делал.

Когда я увидела Марецкую, Раневскую, Плятта, я испытала глубочайшее потрясение, потому что они были живые легенды, перед которыми тогда все только благоговели. Помню, что я как-то порывисто встала, каблуки у меня подвернулись, ноги поехали, и я плюхнулась на место. Эта мизансцена случилась сама по себе, но она точно отразила мой трепет перед ними. По-моему, через год пришли Валентина Серова с Серафимой Бирман. Николай Мордвинов – тоже глыба.

В общем, я была в полном, глубочайшем ужасе. И я не ходила по театру, я бегала. И однажды, как обычно, летя куда-то, завернула за угол и бухнула головой в живот Константина Константиновича Михайлова. Он говорит: «Вот, я знал, что это Талызина, я знал точно…» Это было смешно.

С Серафимой Бирман у меня тоже произошла история. Мы пришли на примерку костюмов. Она стояла перед большим тройным зеркалом и с художником что-то обговаривала. Я со своим темпераментом рванулась к ней и ляпнула: «А вот здесь надо вот так!» «Отойдите от меня!» – вскрикнула Бирман. Я была буквально отброшена. У неё шёл процесс с художником, а я влезла своими сапогами. Всё это я поняла потом, не сразу.

Вообще наш театр славился розыгрышами. Главным по этой части был, конечно, Ростислав Янович Плятт. А когда был жив Михаил Названов… они выступали вдвоём, два хулигана! Однажды Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф выпускала спектакль. Утром был прогон, а вечером – премьера. Всё делалось в очень сжатые сроки. Прогон закончили где-то в три часа дня. Ирина Сергеевна всех отпустила со словами: «Отдыхайте, а в полседьмого садимся на грим, и даст Бог – премьера». Артисты пошли обедать, естественно, ничего не пили, но решили сделать вид, будто сильно напились. Они разыгрывали из себя пьяных так, что с Ириной Сергеевной случилась истерика, и она подскочила то ли к Плятту, то ли к Названову и стала бить его кулачками в плечо: «Что вы сделали?!» Тогда уж они опомнились, сказали: «Ира, ну ты что?»

Мой приход на работу в Театр имени Моссовета совпал с гастролями в Сочи. А я, естественно, ещё не была занята в спектаклях и только ходила на представления. Сидела в оркестровой яме, потому что зал был полный, яблоку негде упасть, и оттуда следила за игрой актёров.

Давали «Виндзорских насмешниц». Там играл потрясающий актёр – Сергей Сергеевич Цейц. Изящный, худой, лёгкий, безумно остроумный. Я была от него в полном восторге. Он говорил мне: «О! Тализ!» И я скукоживалась, хохотала, и в этой оркестровой яме ещё сползала вниз, боясь, что меня кто-то увидит.

Сергей входил в команду Плятта, которая обожала разыгрывать других актёров. Борис Иванов, Сергей Цейц, Ростислав Плятт и Алексей Консовский были мастерами в этом деле. Мишу Погоржельского они разыгрывали просто на раз, он был очень смешлив – пальчик покажи!

Однажды они поехали в Ташкент со спектаклем по пьесе Сафронова «Миллион за улыбку», который поставила Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Погоржельский играл героя, а героиней была Людмила Шапошникова. И по сюжету между ними происходил разрыв, они поссорились. А Цейц был другом семьи.

Входит Погоржельский, а друг семьи, Цейц, лежит на диване, головой к зрителям. Лежит, закрывшись газетой, и у Погоржельского идёт текст: «Что ты тут разлёгся?» С этими словами он отдёргивал газету и говорил: «Убирайся отсюда!»

На гастролях в Ташкенте Цейц сказал Погоржельскому: «Миша, помнишь, у нас в прошлом спектакле что-то не получилось…» В общем, он ходил возле него, показывая своё лицо. А в последнюю секунду он наклеил себе какие-то маленькие усики, натянул тюбетейку, взял сигарету и улёгся. И когда Погоржельский, не ожидая подвоха, произнёс: «Что ты тут разлёгся?» и сбросил газету, Цейц выдал: «Салям алейкум». Всё.

Надо было знать Мишу! Он уже не мог вымолвить ни слова, не то что сказать «убирайся». Салям алейкум! В Ташкенте, где везде товарищи-узбеки… Погоржельский так стал хохотать, Карташова тоже хохотала, она чуть не описалась от смеха. И Погоржельский ушёл со сцены со словами: «Пусть эта курва доигрывает сам спектакль, я не могу».

Вообще театр разделился на тех, кто смешит, и на жертв, которых смешат. Я была, безусловно, жертвой. И годы ничего не изменили. В душе я осталась всё той же смешливой девочкой, которой тоже пальчик покажи! Вот играю в антрепризе с прекрасным актёром Юрой Черкасовым. У нас есть сцена, когда он показывает паралитика, который хочет жениться на главной героине. Я не могу сдержаться! Смеюсь и становлюсь спиной к залу. Нельзя же сказать: «Юра, что ты меня смешишь?» Это моё личное дело. А зал просто катается.

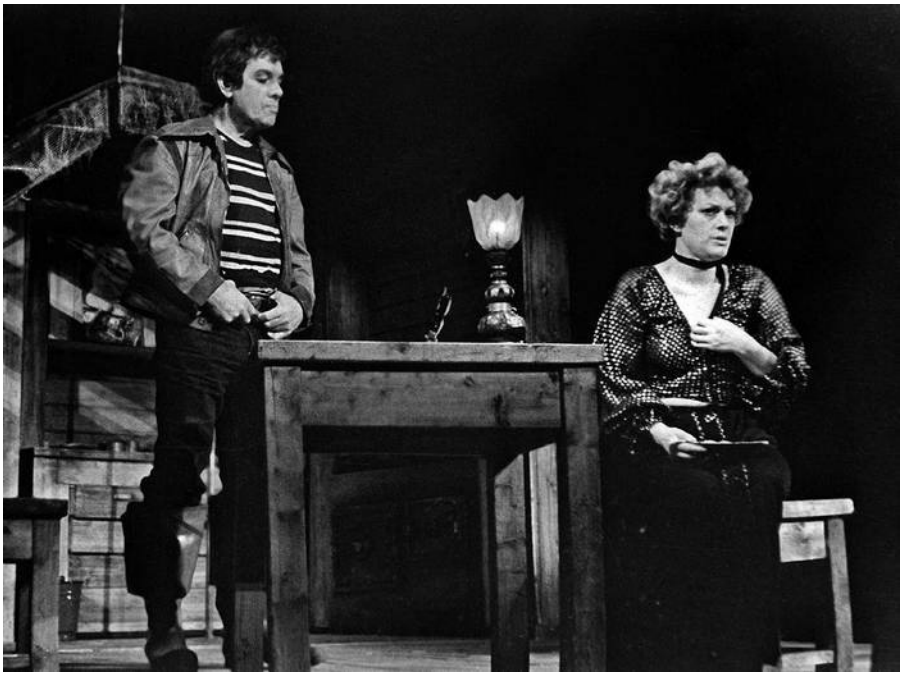
Когда меня смешили на сцене, я ничего не могла с собой поделать. Я помню, что со мной делали партнёры в спектакле «Первое свидание»! Что там вытворяли Вадик Бероев и Сара

Брегман! Она играла какую-то общественницу, а Вадик – управдома. И они сговорились и как-то так встали, что я оказалась между ними: он за моей спиной, а она спереди. И Сара кидала через мою голову портфель, а Вадик там его ловил. Я начинала хохотать. Я просто умирала от их игры. Они за полторы минуты делали из меня отбивную котлетку или мокрую лужу и уходили довольные.

Но спектакль катился дальше, и я появлялась потом в сцене, где – алкоголик-папа и двое сирот-детей без матери. Я заходила к ним в комнату и продолжала хохотать до невозможности. И мне говорили: «Валя, что же такое? Ну что ж вы входите и хохочете?» А я не могла остановиться. Дошло до того, что я пошла жаловаться Михайлову: «Константин Константинович, сделайте что-нибудь».

Надо сказать, что он тоже был мастер розыгрышей. Он на меня посмотрел как на насекомое, как на муравья, мол, что я говорю, это моё личное дело – смеюсь я или нет: «А каким образом я могу что-то сделать? Извольте собраться и не смеяться!» Я умоляла: «Ну, может, вы им скажете! Сделайте так, чтобы они меня не смешили!» – «Как я могу это сделать? У вас мизансцена, другой режиссёр. Ну, они так играют. Это ваши проблемы, раз вы не можете сдержаться…»

Боря Иванов тоже блестяще мог рассмешить. Мы делали «Тревожную ночь на диване». Боря играл персонажа, которого подозревали в убийстве. Мы вчетвером стояли параллельно зрительному залу, а Боря, спускаясь с лестницы с палкой в руках, в гнетущей тишине, медленно шёл мимо нас в другую кулису Он останавливался напротив меня и молча смотрел. Я начинала хохотать, и он проходил дальше. Я думаю: ну, в конце концов, не буду стоять в этом ряду, отойду на четыре шага назад. Боря доходил до этого места, опять смотрел, и у меня начинался приступ хохота. Потом я сказала: «Больше у вас ничего не получится». Я повернулась лицом к самому заднику, чтобы этот взгляд на меня не действовал. И Боря что придумал: на моём уровне стукнул два раза палкой, я опять начала хохотать, у меня затряслись плечи…



«Царствие земное». Жёнов и я. Цыплёнок и МЭРТЛ

А я никогда не умела смешить. Помню, в телевизионной постановке мы сидели в кадре с Марковым и ели борщ. Я играла повариху, а он – какого-то работника или прораба. Он поднимал голову, и у него с губы почему-то свисала капуста. Выглядело это очень смешно. Не в силах сдержаться, я просто поворачивалась спиной к камере и начинала хохотать. И потом уже режиссёр сказал: «Лёня, ну не надо этой капусты». Он спрашивал: «Почему?»

Вера Марецкая была хозяйкой театра. Подруга Завадского, его правая и левая рука. Когда строился театр, Завадского никто не знал. Это потом уже он стал лауреатом Сталинской премии. А она была всенародной героиней. Конечно, она открывала любые двери.

Выглядело это так: сначала шла Вера Петровна, за ней следовал Завадский, а за ним – Плятт. Мощная троица. Вера Петровна была умная женщина. Завадский о ней написал: «Умна, как бес. Всегда знает, что делает, и почему, и зачем, и главное – как».

Он её оставил, когда их мальчику, Женьке, было 4 года, и ушёл к другой – блистательной Галине Улановой. И Вера

Петровна нашла в себе силы, как женщина, всё простить и забыть. Восхищение и обожание, с которыми она смотрела на Завадского в молодости, когда он был её педагогом, сохранились. Переломив в себе обиду, она стала его верной помощницей. Наверное, не каждая женщина на это способна.

У Ирины Сергеевны не было той славы, как у Веры Петровны. Она не была народной артисткой СССР и не снималась в «Члене правительства», но у неё были мозги гениальные.

Марецкая заботилась о том, чтобы у Завадского была еда, чтобы его обслуживала домработница. Она обеспечивала ему полный комфорт. Всё она взяла на себя, и вечер, и утро они проводили вместе. Эти жёны работали в одном театре и уживались нормально: интеллигентные были абсолютно. И отношения поддерживали соответствующие: Верочка «вы» и Ирина «вы». А за спиной Ирина Сергеевна дружила с Любовью Петровной Орловой и Фаиной Георгиевной Раневской, а Марецкая ни с кем не дружила. Она была женщина сложная… И конечно, держала театр.

Она Завадскому подсказывала. Однажды я к ней пришла и заплакала, что у меня нет работы. А она сказала: «Чего ты раскисла здесь? Чтобы твои золотые всегда блестели». Я спросила: «А театр убивает человека?» У меня даже такие мысли бродили в голове. Марецкая подняла глаза: «Кого убил театр?» Я назвала одну артистку. «Да она уже давно мёртвенькая. Это не пример. Делай программы, делай что угодно, но не останавливайся». Вот это она мне сказала.

Помню, как меня приглашал в труппу Борис Ровенских, когда стал главным режиссёром Театра имени Пушкина. Я чувствовала себя как на невольничьем рынке. Он меня как-то всю трогал: о плечах говорил – русские, настоящие. Только что за бедра и за грудь не хватал. Потом я пришла к директору нашего театра Михаилу Семёновичу Никонову и сказала, что меня приглашает Ровенских. Сначала я ему выдала, что мне предлагают преподавать в ГИТИСе, а он мне ответил: «Ты педагог или артистка?» – «Артистка». – «Так вот и оставайся артисткой».

Михаил Семёнович был гениальный. Он выпивал, у него случались запои. Однажды он шёл своей размашистой походкой по театру, а на его пути стояла актриса Этель Марголина, хорошенькая, нет – просто очень красивая женщина. У нас в театре было две Этели: Марголина и Ковенская. Ковенскую Завадский взял к себе после расформирования еврейского театра Михоэлса. Другие боялись, а Завадский взял. В этом плане он был очень благородный человек.

Так вот, Михаил Семёнович шёл, шёл, сильно выпивши, мимо

Марголиной, а потом ей рукой по попе дал и проследовал себе дальше. Он был такой русский размашистый человек, но алкоголик. Зато душевный: всех чувствовал, всех знал. Когда я ему сказала, что меня Ровенских зовёт, он дал совет: «Ты знаешь, ты будешь зависеть от него. И тебе придётся ещё быть кем-то. Поэтому я тебе не советую. А здесь ты свободна». И это было абсолютной правдой.

Борис Ровенских пригласил меня посмотреть спектакль. Я пришла и увидела на сцене светловолосого мужчину (он играл какого-то кубинца) красоты необыкновенной. Длинноногий, с фантастическим темпераментом, неповторимым голосом, фиалковыми глазами – ни у кого я не видела таких! Я подумала: «Боже мой, есть же счастливые женщины, которые бывают рядом с таким мужчиной». Это был Леонид Марков. А потом он пришёл к нам в театр.

Он перешёл к нам и переиграл почти весь классический репертуар: Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского, Толстого. Юрий Завадский взял его в расчёте на то, что он заменит Николая Мордвинова в «Маскараде». Сыграл Лёня, конечно, хорошо. Потом он стал первым артистом театра. Я с ним сыграла в семи спектаклях. Партнёром он был потрясающим.

Помню, он играл Егора Булычёва, а я – его нелюбимую жену. Когда начались репетиции, я подошла к Виктюку: «Там же нечего играть! Как быть?» – «Во-первых, твоя героиня набожна, во-вторых, любит его безумно, до потери пульса». И я начала играть смертельно влюблённую женщину. Смотрела на Маркова и смеялась, чтобы хоть как-то вызвать его интерес. Лёнька понял, что я по своему идиотизму слишком много беру на себя. Ему это не нравилось, и он стал дразнить меня на сцене. А в спектакле мне хоть бы что – ещё пуще заливалась от восторга, что он обращает на меня внимание. С тех пор Марков меня слегка опасался.

В спектакле «Они сражались за Родину» Марков играл раненого бойца, а я – медсестру Зою. Мизансцена была такая: я подбегала к нему и приговаривала: «Ой, миленький, миленький, сейчас, сейчас…», тащила, пока в меня не попадала вражеская пуля. И режиссёр мне сказал: «Даже умирая, она закрывает своим телом бойца!» Надо – значит надо.

Марков лежит на животе, я падаю ему на спину и чувствую, как его руки пробегают по мне. Я взвизгиваю, потому что меня пронзает высоковольтная дуга. Начинаю хохотать, со мной творится что-то невообразимое. Конечно, я была влюблена.

Однажды мы пришли на репетицию, я играла Юлию Павловну Тугину, а он – Фрола Федуловича Прибыткова. Нам

объявили, что Юрия Александровича Завадского не будет. Тогда Марков подошёл к авансцене и заявил второму режиссёру: «Передайте Юрию Александровичу, что я с Талызиной без него репетировать не буду!» И ушёл.

«Цитата» – спектакль Театра имени Моссовета. Слева направо: Муравьёва, Марков, Стеблов, Талызина

У Лёни была невероятная сексуальная привлекательность, особая мужская манкость, которая перехлёстывала через рампу. Женщины сходили по нему с ума. Щедрый, жестокий, нежный, грубый – в нём было столько всего! Он был потрясающим актёром, но очень пил. Он предложил мне выйти за него замуж. Лёня как раз разошёлся с женой, а я была несвободна. Я подумала, что меня ждёт повторение того, что я уже имела. Тем более что Марков виделся мне необузданной стихией. Я отказала, потому что были для этого основания. Он сказал: «Если бы мы поженились, то театр был бы наш. Мы бы перевернули этот театр!»

Это был потрясающего дарования актёр, что называется, от Бога. Жаль, что у него не сложилось в кино. Он из-за этого страдал, комплексовал. Только под конец жизни снялся в картине

«Мой ласковый и нежный зверь». Лёню недооценили, и кинематограф от этого пострадал. Я могу сравнить Маркова только с Марлоном Брандо.

Будучи молодой актрисой, я ходила смотреть все спектакли нашего театра. Видимо, я производила впечатление наивной девушки, и поэтому ко мне все артисты стали относиться очень хорошо.

Гастроли нашего театра шли в Сочи и в Краснодаре. И вдруг произошла накладка. В спектакле «Наша дочь», где главную роль играла Нелли Молчадская, был персонаж – девочка-подружка. А исполнительница этой роли была занята в каком-то основном спектакле, который шёл в Сочи. Приняли решение: «Пусть сыграет Талызина. Это будет её боевое крещение».

Меня отправили на каком-то кукурузнике, я приехала за день до спектакля. А сцена у меня была с Молчадской и Сошальской. И они на всю жизнь остались моими первыми учителями. Нелли Молчадская мне сразу сказала: «Валя, никогда не опаздывайте и никогда ни о ком плохо не говорите…» Нелли дала мне много советов. Она очень хорошо начинала и вполне могла стать большой актрисой, но у неё не произошёл переход к возрастным ролям.

И когда мы пришли с Нелли к Варваре Сошальской, то Варвара (она была очень красивая женщина) сидела в каком-то цветастом халате. Она сказала: «Даже если вы ни одного слова не скажете, мы с Нелли сыграем. Так что не волнуйтесь, не переживайте».

Я, конечно, очень волновалась. Текста у меня было немного. По сюжету я учила Нелли, как из двойки сделать пятёрку. Потом приходила Сошальская (она играла мать), дочь ей показывала дневник, и она говорила: «Так ты тут подтёрла, что ли?..» И это уже был конфликт в советской пьесе.

Никогда не забуду, с какой доброжелательностью они ко мне относились. А я всегда смотрела на них снизу вверх, с придыханием, как на моих учителей. Потом я говорила Нелли: «Вы же не знаете, что я вас очень люблю». Она смущалась: «Господи, да за что меня любить?» – «Я вас люблю ещё с того краснодарского спектакля…» И всегда, что бы ни говорила Нелли, а она говорила жёстко и очень точно, я принимала. Очень часто я от неё слышала, что халдизм – это ужасно. Ну, я опаздывала – и ничего не могла с этим поделать…

А Варвара Сошальская оставалась до конца моей подругой. Варвара была петербурженка, красивая женщина, очень умная.

Она курила, играла в преферанс. Я бы сказала, она была не бытовая женщина.

Она очень ко мне хорошо относилась, даже любила меня, потому что я ей нравилась как артистка. Пожалуй, это главное. А я всегда к ней тянулась. Её судьба в театре могла сложиться иначе, но она была одного возраста с Верой Марецкой и одного амплуа. Поэтому Варвара, конечно, была обездолена. Все лучшие роли играла Марецкая. И редко Варваре выпадало играть вторым составом с Марецкой, потому что Вера Петровна своих ролей не отдавала, у неё были все первые роли. И у Варвары всегда было ощущение какой-то несправедливости.

Она, между прочим, была первой героиней у режиссёра Радлова. Когда началась война, они работали на юге. В марте 1942 года они вместе с театром были эвакуированы в Пятигорск. В августе немцы заняли город, и часть труппы вместе с Радловым и его семьёй оказалась в оккупации. Варваре Сошальской удалось выскочить, она успела уехать.

В феврале 1943 года немцы отправили театр в Запорожье, затем в Берлин и, в конце концов, на юг Франции. После окончания войны Радловы переехали в Париж.

В 1945 году им предложили вернуться в СССР. Они поддались на обещания, приехали на Родину, не зная, что работу при немцах им не простят. С Радловыми обошлись так же жестоко, как и с другими советскими людьми, имевшими несчастье оказаться в оккупации или в плену.

Их арестовали, обвинили в измене Родине и сотрудничестве с оккупантами и отправили на 10 лет в лагерь под Рыбинск. Анна Радлова умерла в заключении в 1949 году, Сергея Радлова освободили в 1953, но он был поражён в правах. Ему было запрещено проживать в Москве и Ленинграде. Радлова реабилитировали в 1957 году.

Но и на Варваре Сошальской эта история отразилась. После войны она оказалась не у дел, и её взял Завадский. Он совершал благородные поступки.

У Варвары был красавец сын Володя Сошальский, который дружил с Евстигнеевым. Варвара так любила Володю! Это что-то! У неё всегда был прекрасный стол, она пекла фантастические пирожки. Она жила в маленькой квартире, получала небольшую зарплату, но её гостеприимство поражало. Оно у неё было не московское, а петербургское.

Варвара была из дворян. Она мне рассказывала, что у неё папа и двое братьев ушли в Белую армию и погибли в Гражданскую войну. И они с матерью – та тоже была писаная красавица, звали её Тамара, – остались вдвоём.

Мама Варвары помнила Распутина. Когда она проходила мимо него, он делал попытки подкатиться. Ведь Распутин ни одну красивую женщину не пропускал. Но с Тамарой у него ничего не получилось.

У неё была хорошая семья, они с мужем очень любили друг друга – Тамара и Владимир. И Распутин, провожая её долгим взглядом, всегда вздыхал: «Ах, какой дух…» У неё были какие-то необыкновенные французские духи.

Варвара подружилась с Ниной Антоновной Ольшевской, женой Ардова, подругой Анны Ахматовой. Обе – дворянки, обе знали французский язык и обе курили, обе играли в карты. Они были одного круга. Нина Антоновна играла в покер со своими подругами, и Варваре пришлось переучиваться: она предпочитала преферанс. Она любила отдыхать на море, в Крыму. И там они резались в карты.

Варвара плавала потрясающе. Вижу картинку: солнце, море и Варвара сидит с сигаретой в зубах и играет в преферанс под знаменитым деревом в Ялте.

Варвара меня любила, и я её тоже любила. И за первую фразу, сказанную перед спектаклем в Краснодаре: «Ты за себя не волнуйся, мы за тебя с Нелли сыграем», и за то, что она чувствовала и выделяла талантливых людей. У неё была петербургская школа. Она ненавидела бездарность и любила таланты. Это была её слабость. Они с Володей и Женю Евстигнеева полюбили. Он был свой в их доме, они переживали все его перипетии с жёнами.

Когда я получила роль Катерины Ивановны в «Петербургских сновидениях» и чуть-чуть порепетировала, буквально полмесяца, вынуждена была уйти в декрет. И сразу на эту роль была назначена Ирина Карташова. И она играла, выпускала спектакль.

Потом, когда я вернулась в театр, Завадский сказал Ирине Сергеевне: «Ирина, посмотри, пусть она тебе сдаст роль Катерины Ивановны. Пусть произнесёт монолог, и ты скажешь мне, сможет она играть или не сможет, выходит у неё или нет». Я выучила монолог, я перечитала много книг о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Читала про Анну Григорьевну Сниткину, его жену, её дневники, и поняла, что, наверное, он писал с её образа. Я узнала, что Анна Григорьевна говорила мелко-мелко и с придыханием. И я подумала: Катерина Ивановна могла говорить точно так же. И взяла чуть-чуть эту окрасочку.

И я пришла сдавать роль к Ирине Сергеевне домой. У неё сидела Варвара Сошальская, не помню, дымили они сигаретами или нет. Квартира была маленькая. Входная дверь, маленький узкий коридор, ведущий на кухню. В комнате места не было. А

между коридором и кухней – один метр.

Они сидели в комнате, а я в этом полукоридоре сдавала роль Катерины Ивановны. На площади в один метр! Мне надо было по роли упасть в обморок, и я падала…

Потом я очень прилично играла Катерину Ивановну. Были хорошие рецензии. И меня сверлила мысль: как-то надо вернуть себе эту роль, которую мы играли в очередь с Ириной Павловной Карташовой. Мне необходимо было вернуть себе эту роль!

Однажды Плятт сказал фразу: «Бывают такие минуты у артиста, когда он не то что забывает себя, он взлетает…» Наверное, у меня был такой вариант. Потом мы приехали во Львов. К тому времени уже все оценили, что я прилично делаю свою роль. Когда я играла во Львове, мне кто-то с балкона крикнул «браво». И потом, уже в Москве, Завадский остановил меня и спросил: «Ну, как у вас прошли гастроли?» – «Юрий Александрович, очень хорошо… (я, конечно, не смогла промолчать). Мне после монолога кричали „браво”». Он сказал: «Очень плохо!» – и пошёл. Потом добавил: «Это же не цирк и не эстрада. Это очень плохо». Я была немножко посажена на место.

Фаина Георгиевна Раневская в доме Ирины Сергеевны была как своя. По-моему, в безденежные годы она кормила эту семью. Однажды Фаина Георгиевна, когда Павла Леонтьевна уже лежала в больнице, с горечью сказала: «Эти сволочи так бросили её на кровать…»

А она ходила к ней в больницу каждый день. И в один из своих последних приходов Фаина услышала от Павлы Леонтьевны слова: «Фаина, ты талант». Она от своей учительницы дождалась признания. Павла Леонтьевна не бросалась такими словами.

Когда Ирина Сергеевна репетировала «Дядюшкин сон», Фаина Георгиевна, видимо, на правах родственницы делала всё время замечания Ирине Сергеевне: то Михайлов не так играет, то одно не так, то другое, то тут она не согласна, то там. Ирину жалели, говорили, что Фаина пьёт её кровь. Отголоски этих разговоров доходили и до меня.

И Ирина Сергеевна всё терпела, курила и держалась из последних сил. Однажды Фаина ей сказала: «Ирочка, я вижу, как тебе со мной тяжело, я больше не буду тебе ничего говорить. Выпускай спектакль как можешь. А вообще слово „не согласна” я больше не скажу». Репетиции подходили к концу.

Ирина Сергеевна ставила финал. Она придумала сделать такой «язык» из чёрного материала, такую узкую кулису, которая висела в середине сцены. Все персонажи выбегали из одной кулисы, пробегали через сцену по этому «языку» и убегали. Фаина

сидела в зале в третьем или четвёртом ряду, а Ирина Сергеевна, как обычно, в середине, в проходе, в седьмом или восьмом ряду за режиссёрским столиком с лампой. Все пробегали и убегали, пробегали и убегали. А конец «языка» лежал немножко на полу. Ирина Сергеевна просила, чтобы пробегали по этому языку.

И Фаина тоже должна была пробегать, но она сидела и смотрела, как все это делают. Последняя перед Фаиной бежала Варвара Сошальская. Варвара побежала и остановилась, Ирина Сергеевна ей сказала: «Ну, Варвара, сделай какую-нибудь фигуру, как будто ты прислушиваешься…» Пока Варвара делала одну фигуру, другую, мальчик, который сидел на колосниках и в определённый момент должен был поднимать этот «язык», ждал.

Вдруг произошло непредвиденное: у Варвары каблук зацепился за ткань «языка». Материал был гнилой и прорвался. Варвара вроде как должна бежать, но не может двинуться с места. Второй режиссёр, который сидит на пульте, не заметил, что она застряла в этом «языке», дал мальчику команду поднимать.

Тут надо сказать, что все мы были в кринолинах. Злополучный «язык» пошёл вверх, нога Сошальской застряла в дырке, юбка задралась, Варвара повисла, как кукла, и этот «язык» стали поднимать высоко над сценой. Мы все, которые сидели и стояли на сцене, стали орать. Второй режиссёр не мог понять, потому что не видел, что происходит.

Варвара болталась с открытыми голыми ногами, а колосник всё поднимался. Пока второй режиссёр на пульте сообразил, пока мальчик нашёл нужную кнопку, колосник взлетел совсем высоко, почти на высоту четырёхэтажного дома. Вся сцена орала, все ждали, что Варвара сейчас грохнется вниз. Это было непередаваемо. Наконец к всеобщему облегчению колосник постепенно начал спускаться. Когда он достиг сцены, Сошальская тут же упала в обморок на наши руки.

Это даже не я, но это я. «Дядюшкин сон» – Зина

Варвару освободили, вытащили каблук из «языка» и потащили её, бесчувственную, за кулисы. Фаина повернулась к Ирине Сергеевне и сказала: «Ирочка, я на эту мизансцену не согласна».

Фаина Георгиевна впервые после данного Ирине Сергеевне

обещания помалкивать и не произносить своего знаменитого «я не согласна» не смогла себя сдержать. Потом, конечно, все хохотали. Это слышал Гена Бортников.

А Ирина, конечно, сидела бледная, потому что она понимала, что Варвара чудом спаслась. Варвара была умница, она не подняла никакого скандала. Ну, мальчик-техник ошибся, второй режиссёр ошибся. А она держалась на руках…

Вспоминаю последние дни Варвары Сошальской. Она уже не играла в театре. Я как-то привезла арбуз из Крыма и собралась к ней. Она была одета в одно из своих лучших платьев, на шее – бусы. Меня это потрясло. Я вскричала: «Варвара, миленькая, это вы ради меня так оделись?» – «Как же, конечно, я же тебя ждала в гости». По-моему, выпили по стопочке, разрезали арбуз.

Если бы всё вернуть назад! Сейчас бы я предложила деньги, а тогда постеснялась. Я этого не смогла сделать. Боялась обидеть великую актрису. И конечно, мне не дано было знать, что это была наша последняя встреча.

Варвара никогда не делала замечаний своему сыну Володе, в отличие от меня, не скупившейся поучать дочь. Однажды я пожаловалась на Ксюшу, а Варвара мне сказала в ответ: «Это ты так её воспитала». Я обиделась, конечно, но сейчас я всё больше вспоминаю её слова и думаю, что, возможно, она не так уж ошибалась.

Володя Сошальский был не самый лучший сын. И потом мне уже рассказывали, что, будучи в больнице, Варвара на него кричала. Такой несдержанной, кричащей я не могу её себе представить. Все обиды, вся неудовлетворённость, возмущение детьми у неё прорвалось как нарыв.

Варвара дружила со всеми жёнами, любовницами Володи. Она была потрясающая мать. Красавец Володя имел успех у женщин, он поражал искрящимся остроумием. И мать смотрела на любимого сына с восхищением – что бы он ни делал, ей всё нравилось. В то же время он был необязательный, наверное, Варваре не хватало его внимания.

Любовь Орлова. Мы мало с ней общались. Она держалась особняком в театре, она была звезда. Мы все на неё смотрели как на человека с другой планеты. Хотя сколько я помню, она ходила в одной юбке и одной кофте. Серенькая юбочка из букле, коричневый свитер и кулон с Нефертити. А когда она выходила на какие-то важные мероприятия, то, конечно, наряжалась.

На юбилее театра Любовь Орлова блистала. Это, конечно, была вылитая Мальвина, что-то невероятное. Уникальный костюм, роскошные туфли, грим, парик – вот живая Мальвина, и всё… Возраст и Орлова – вещи параллельные. Она была

изумительна, сидела ровно, как струна.

В спектакле «Жизнь Сент-Экзюпери» Бероев играл Сент-Экзюпери, а я – мадам Н. Мне наши гримёры сделали парик. Любовь Петровна шла через сцену – мы играли утренний спектакль – и вдруг мельком увидела этот парик! Она прибежала в гримёрную и сказала: «Покажите тот парик, который у Талызиной…» Парик был фантастический! Это, конечно, комплимент нашим гримёрам. Орлова быстро примерила этот парик, посмотрелась в зеркало: идёт ей или нет? Не знаю, сделала ли она заказ, но париков у неё было много.

Однажды у меня с ней произошёл такой эпизод. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф после «Дядюшкиного сна» дала мне роль в «Последней жертве» Островского. Я играла Юлию Павловну Тугину. Получить главную роль в Театре имени Моссовета, да ещё в пьесе Островского – это было счастье. Фрол Федулыч – Марков, Дульчин – Бортников, Глафира – Раневская! Я оказалась в таком цветнике.

И вдруг у меня дома раздаётся телефонный звонок: «Это говорит Любовь Петровна (она очень хорошо ко мне относилась). Валя, ко мне тут пришла старушка и принесла потрясающие кружева, чуть ли не восемнадцатого века. Срочно идите в дирекцию и скажите, чтобы вам купили эти кружева на платье. Идите и скажите!» Это она, легендарная актриса, могла пойти в дирекцию и потребовать, но не я, молодая артистка. Я попыталась дать задний ход: «Вы знаете, ещё нет художника по костюмам, нет даже эскиза…» Она сказала: «Это меня не интересует, и это никому не интересно. Идите и настаивайте, чтобы вам купили эти кружева».

«Последняя жертва». Наташа Ткачёва и я – Тугина Юлия Павловна

Я пошла к Вале Школьникову, нашему замдиректора. Он любил артистов, смотрел все спектакли и ценил лучшие традиции театра…

После недавней программы на НТВ с моим участием мне позвонила жена Вали Мира: «Валя, всё очень хорошо, здорово. Я смотрела на одном дыхании!» Я пригласила её на спектакль «Свадьба Кречинского». «Нет, Валя, я сейчас не выхожу…» – «Ну сейчас не выходите, а скоро начнётся весна…» – «Ой, я так постарела, поседела…» – «Это не имеет никакого значения…» Мира слыла красавицей…

А Валя Школьников был прирождённым театральным директором. Он помогал всем, никогда никому не отказывал. И я к нему пришла и тоном просителя заговорила: «Валя, надо купить кружева! Там старушка пришла к Любови Петровне. Понимаешь, она говорит, чтобы я настаивала…» – «Иди, иди, всё сделаем, всё купим. Успокойся, только репетируй, играй…» И купили эти кружева. Сейчас одно платье с этими кружевами – оно как-то сохранилось – я отдала историку моды Александру Васильеву. Потому что это платье было сшито по эскизам его отца. Костюмы у меня были потрясающие.

Когда я была совсем молодой артисткой, у нас в театре существовала прекрасная традиция. Завадский каждую неделю собирал труппу: читал Пушкина или рассказывал про Станиславского. Я обожала эти беседы, которые всех нас поднимали. Когда Завадский ушёл, мы поняли, как мы осиротели. Эти беседы кончились…

Такие вещи понимаешь только потом.

И тогда кто-то сказал: «Вы, молодёжь, сходите к Любови Петровне Орловой и узнайте, как она такую форму держит». И я с ней договорилась. Это было в Риге. Она мне показала все физические упражнения, которые делала каждый день. А потом сказала фразу, которая меня убила: «Ну, я же ведь артистка оперетты, нам это надо. А вам, драматическим актёрам, может быть, этого и не надо». Я на неё с удивлением посмотрела: что ты говоришь, нам тоже это надо.

Валентина Серова пришла в театр с Серафимой Бирман, когда я уже там работала. Они через многое в жизни прошли. Бирман была потише. А Серову сразу возмутило, что Марецкая – хозяйка театра.

Помню, на какое-то общее собрание театра Серова пришла в белом воротничке. Она предпочитала строгий стиль и любила белые воротнички. У неё были светлые волосы, голубые глаза, она выглядела худенькой до воздушности. Валентина храбро

выступила против диктатуры в театре.

Когда собрание закончилось, Серова с пылающими щеками подсела к Бирман, а я что-то замешкалась и случайно подслушала их разговор. Валентина спросила Серафиму: «Ну почему вы не высказались, почему вы ничего не сказали?» А Бирман сидела молча. Она понимала, что с диктатурой ничего не поделаешь, если она есть, то она будет до конца. Так и было.

Конечно, Юрий Александрович в какой-то степени был диктатором. При всей своей мягкости, интеллигентности, таланте он таки держал руку на пульсе театра. И умудрённая опытом Бирман сидела с поникшей головой, опущенными плечами. Они хотели какую-то пьесу взять, а им этого не дали… «Ну почему, почему вы не сказали?» – с какой-то мукой вопрошала Серова. Я подумала: боже, какие страсти кипят…

Валентина Васильевна Серова была невероятно красивая, летящая, поразительного темперамента актриса. Но к сожалению, она уже пила. Вот сегодня она летящая, темпераментная, улыбчивая, а завтра спектакль заменяют, потому что она не пришла. Она могла сорвать спектакль. К сожалению, так случалось не раз.

Она была уже без Симонова и не могла совладать с собой. Я помню, с ней говорила дирекция, она давала слово, ходила, просила. И всё-таки встал вопрос, на моей памяти, года через два-три. Ей объявили: «Мы вас не можем держать в театре, потому что вы в любой момент способны подвести». Это было трагично. Но я никогда её не видела в нетрезвом состоянии. Она не позволяла себе являться в театр в таком виде.

Режиссёр Радомир Борисович Василевский рассказывал мне, как он вызвал Валентину Серову на пробы в Одессу. Она приехала с каким-то мужчиной. Они не выходили из номера, и им то и дело носили туда бутылки. Они пробыли в этом номере три дня, и Радомир Борисович вынужден был сказать: «Купите им обратные билеты…»

Серова даже не пробовалась на роль, так и не вышла из номера. И с этим мужчиной она и уехала. Валентина просто погибала…

Она была очень добрая. Прихлебатели везде встречаются: выпить за чужой счёт, закусить… Вокруг Серовой таких, к сожалению, хватало. С ней дружили, когда хотелось попить-поесть, провести время с красивой и популярной актрисой. А потом все от неё отхлынули. Она не считала денег, и если кто-то нуждался в её помощи, всегда помогала безоглядно и бескорыстно. В моей памяти Серова осталась женщиной от начала до конца – летящая, с сухим темпераментом, подобным тлеющему

огню, готовому вспыхнуть в любой момент. Глядя на Серову, трудно было поверить, что она – ровесница Марецкой и Орловой.

Рассказывали в театре, что, когда она ездила в Америку, привезла всем подарки. В ней не было ни капли скупости. Валентина Васильевна раздавала всё. Я с ней играла в спектакле «Тревожная ночь», который поставил Шапц. Но к сожалению, на сцене мы не сталкивалась. Я комсомолку отыграла, а она выходила играть героиню. Спектакль не имел особого успеха. Это был уже её закат. В 62 года она умерла.

Когда я жила в своей полуподвальной комнатке в Каретном Ряду, кто только у меня не перебывал! Гости приезжали, уезжали, но я оставалась невинной девушкой. Никаких близких отношений у меня ни с кем категорически не было. Как только я получила московскую прописку, привезла маму.

Актёрское общежитие напоминало проходной двор. Пели, пили, читали стихи. Всё было очень демократично. Я как раз сыграла пьесу «Битва в пути», и меня уже немножко знали. И однажды пришла какая-то компания: сценаристы Александр Мишарин, Андрей Вейцлер, а с ними маленький обаятельный молодой человек, темноглазый, с очень красивым лицом – Лёня Непомнящий, художник. Потом он мне сказал, что сразу протрезвел, как только вошёл в мой подвал, потому что эти тяжёлые своды производили гнетущее впечатление…

Дома. Вера, я, Виктюк и N

Был стол, я что-то метала, бегала к соседям за посудой. Саша Мишарин, между прочим, соавтор Тарковского в «Зеркале», оказался жутким сибаритом, а-ля Дягилев, москвич из состоятельной семьи. Когда он приглашал в гости, то у него было столько еды, что просто не хватало сил всё это съесть.

Я была худенькая, хорошенькая. Лёня в меня влюбился, хотя в тот момент у него был роман с какой-то Светкой, похожей на меня. Чуть ли не во вторую встречу Лёня предложил мне выйти за него замуж, чем меня просто убил. Он сказал: «Ты как хрустальная ваза, которая может упасть и разбиться вдребезги», – чем сразу меня покорил. Таких слов мне никто раньше не говорил. Но пил Лёня нещадно, несмотря на то что в его жилах текла еврейская кровь. Он ухаживал за мной три года. Я его выдерживала так долго, потому что он пил, мне это очень не нравилось. Он говорил: «Валя, как мы только поженимся, я перестану пить!» Я была такая наивная и верила этим сказкам.

Когда Виктюк уехал, я осиротела и искала, с кем бы мне дружить в ГИТИСе. Подружилась с Инной Гольдберг, которая училась младше меня на курс. Потом она взяла себе фамилию Ростова. Инна была типичная еврейка, очень тоненькая, хорошенькая, умница. И я попала под её влияние. Она мной руководила. Инна очень рано вышла замуж за какого-то музыканта и жила с ним не в общежитии, а в квартире. Потом она устроилась в областной театр, а меня приняли в Театр имени Моссовета. Инна ко мне приходила в подвал, как к себе домой. Однажды она зашла, а у меня был Лёнька. И Инна у меня спрашивает: «Это кто такой? Зачем тебе этот еврейчик нужен?» – «Как?» – «А ты что, не видишь, что ли?» – «Нет».

Лёня вырос в аристократической семье, для меня, девочки из Сибири, он казался воплощением иной, незнакомой среды. Лёнин папа, Михаил Натанович Непомнящий, окончил знаменитую школу Столярского в Одессе, учился вместе с Ойстрахом и был первой скрипкой Большого. Симпатичный, со светлыми прозрачными глазами, он походил на Утёсова. А мама, Фаина Васильевна Львова, дочь русского священника, красавица с лицом мадонны, пела в хоре Большого театра. У них было два сына – Леонид и Валерий. Валера стал скрипачом, как папа, а Лёньку отдали в Строгановку, потому что он хорошо рисовал. Когда мы познакомились с Лёней, его родители были в разводе и он жил с мамой.

Однажды Лёня объявил: «Мне не надо сейчас жениться, но я предлагаю тебе выйти за меня замуж!» Фаина Васильевна была недовольна выбором сына. Ей не нравилось, что Лёнька взял

жену, во-первых, из Сибири, во-вторых, из подвала, а в-третьих, ещё и артистку! Потом она ко мне относилась более-менее хорошо. А Михаил Натанович надеялся, что его непутёвый сын со мной остепенится. Я, видимо, внушала доверие: серьёзная, в очках, практически непьющая.

Мы поженились в 1963 году. Свадьбу играли в нашем подвале. Пришли Лёнины родители, а мой папа находился в Бресте. Я была в скромной бежевой кофточке и коричневой юбке, которую мне кто-то сшил, и она на моей стройной фигуре очень хорошо сидела. Папа Миша отдал нам свою 8-метровую комнату в коммунальной квартире. Когда мы там поселились, вышла старушка и сказала: «Ещё хозяин до революции хотел этот дом снести, а он до сих пор стоит…» А в комнату на 1-й улице Строителей, которую я получила в 1962 году, поехала моя мама.

Муж не сдержал слово. Пить он не бросил. Я не спилась с ним, потому что у меня был такой организм: после четвёртой рюмки всё шло назад. А с этими художниками я бы однозначно слетела с катушек. Лёня пил почти постоянно. Организм был молодой.

Лёнька шикарно готовил. У нас был огромный казан, в котором он творил свои гастрономические изыски. На Лёнино угощение слетались все мои друзья. Актёры – народ голодный, поесть никогда не откажутся. Пили много. Мы тоже ходили на разные вечеринки. Как-то приехали к драматургу Михаилу Рощину. Он тогда был женат на актрисе Лиде Савченко. Лида сыграла в нашумевшем спектакле Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека».

Рощин предупредил: «У нас, кроме нескольких картошек в мундире, ничего нет». И с двумя сумками еды мы отправились в гости. Было весело. Лидка хохотала, Миша сидел в расстёгнутом халате, с голыми ногами, а их маленькая дочка Наташа ползала под столом у папиных ног и говорила: «Лолоськи мои». Мой муж обожал общаться с богемой, его интересовали театральные премьеры. Как-то он даже выдал: «Я бы давно тебя бросил, если бы не твои друзья».

С Лидой я познакомилась на какой-то вечеринке. Мы приглянулись друг другу, и Лида потянулась ко мне. А в это время у меня была присказка «солнце моё», я ко всем так обращалась. И Лиде это очень понравилось.

Она была щедрым человеком и чувствовала талантливых людей на раз, видела каждого изнутри. И всегда мне говорила, когда у меня были депрессухи, расстройства, нервы: «Валя, ты удивительная, неповторимая, ни на кого не похожая…» Я

привыкла слышать от неё теплые слова поддержки. Мне это было не только приятно, но и помогало жить. Лиде я платила такой же любовью и восхищением.

Я понимала, что у меня всё-таки сложилась жизнь: я снимаюсь в кино, я востребована как актриса. А у Лиды не заладилось с этим. Она не снималась, поэтому выхода на большую публику, на большую аудиторию у неё не было. Но это обстоятельство мне нисколько не мешало говорить, что она потрясающая актриса и очень хороший человек.

Она родом из Грозного, мама у неё была дворянка. Как они попали с мамой в Грозный, я уже не помню. У неё всегда имелись какие-то истории, а как она умела рассказывать анекдоты! Конечно, она помогала своему мужу Мишке. Мне кажется, это была настоящая пара.

Мы с Лидой дружили, ходили на премьеры, она ко мне, я к ней. У нас были одни интересы, общались мы потрясающе. Я с ней советовалась по поводу ролей.

И тут грянул 1990 год, и все стали сдавать деньги в разные «пирамиды», которые тогда росли как грибы. Я к этому с большой опаской относилась. Деньги мне доставались трудно, и отдавать их в сомнительные «пирамиды» я не решалась. Какое-то внутреннее чутьё мне подсказывало, что это делать не надо. И всё-таки меня кто-то уговорил, и я отнесла деньги в «Чару», которой доверили свои сбережения многие артисты. И через три месяца «Чара» лопнула. Деньги у меня там были небольшие, и я поняла, что я их потеряла и никогда мне их не вернут. Вдруг мне звонит Лида: «Валя, у меня в „Чаре” большие деньги».

Она к тому времени уже разошлась с Мишей. Катя Васильева пришла в дом на день рождения Миши и увела его навсегда. Потом, наверное, она отмаливала этот грех. У Лиды была страшная депрессия, это её подломило, я была с ней в эти тяжёлые дни рядом. Я помню, приезжала к Лиде, уговаривала её, что надо заниматься собой. Говорила ей: «Ты должна бегать по утрам. Хочется, не хочется, вставай и бегай…»

А меня привёл на беговую дорожку Олег Анофриев. Мне не хотелось, а он уверял: «Ты только попробуй, увидишь, как это прекрасно!» Олег знал, о чём говорит: бег помог ему восстановиться после инфаркта.

И я тоже побежала. Вставала в семь утра и мчалась на Чистые пруды. Чтобы меня не узнавали, надвигала на лоб белый берет. К слову, благодаря бегу я познакомилась с интересными людьми, среди которых были доктор наук, военные и милые чудаки, которые даже зимой тренировались в одних трусах!

Лиду я уговорила. Потом она признавалась, что как дура

бегала вокруг своего дома, потому что Талызина советовала. Этот бег её как-то встряхивал, отвлекал.

И вот она мне позвонила, что в «Чаре» у неё приличные деньги, и попросила пойти с ней… Я сказала: «Лида, это бесполезно, ничего не получишь». Она умоляла: «Я тебя прошу, пойдём. Может, ты покажешь „морду лица" и тебе отдадут. Там, говорят, кому-то возвращают деньги». И мы пришли. Это был ужас. Потому что какие-то безумные люди бегали у банка, носилась хозяйка, вся в бриллиантах. Кто-то кричал, и милиционер стоял.

Я сунулась в одну дверь, сказала: «Вот я артистка Талызина, здесь артистка Савченко…» – «Никаких артистов, идите отсюда…» Потом толкнулись в другую дверь – то же самое. А я к тому времени была уже народная артистка. Но в этих обстоятельствах звание не играло никакой роли. Ничего никому не нужно было, и «морда лица» никому не помогла абсолютно. Я была в таком ужасе, меня просто парализовало. На нас навалилось незнакомое, чужое, непонятное. Мы вышли, я находилась в состоянии полной растерянности. Унизительное ощущение. Вроде как я торговала своим именем. Никакой артистки Талызиной не существовало. Были только деньги, деньги, деньги…

Лида мне всё повторяла: «Может, мы пойдём куда-то ещё…» Я повернулась и на неё крикнула. Не потому что она меня сюда привела, нет. Скорее, от беспомощности, от ощущения, что мы были песчинками в этой круговерти.

Я помню, как Лида на меня взглянула, когда я на неё орала. У меня, конечно, кольнуло сердце, и обожгла мысль: «Ой, что я сделала!» Но в тот момент я себя не могла переломить. Это был выплеск эмоций. Как говорят сегодня: ничего личного. Во мне бурлила обида, что мы оказались в дураках. Я не могла сразу сказать: «Извини меня». Потом, через день-два я остыла, успокоилась, позвонила и извинилась. Но Лида затаилась и не простила.

Очень много раз я просила у неё прощение. И звонила, и со сцены говорила, когда у неё был юбилей. И ещё раз звонила, но уже дружбы у нас не было. По-моему, Лида сказала, что простила, но наши прежние отношения безвозвратно закончились. Потом она ушла из театра, я понимала, что жизнь у неё, наверное, была грустная. Потому что актёр без театра – это очень тяжело. Можно ли это пережить, не знаю. И вот она ушла. Я наткнулась на объявление в Доме актёра уже после её смерти. Но ощущение вины никуда не делось. Вспоминаю Лиду, вижу её отчаянный взгляд, слышу свои обидные слова. Но ничего нельзя изменить.

Меня не сразу начали снимать в кино. Пробовали и не снимали. Шесть лет я ходила на кинопробы. А потом подумала: да на какой ляд это кино мне сдалось? У меня есть профессия, я работаю в театре, играю роли. Что я мучаюсь: снимают они меня или не снимают? Я опоздала на полтора часа на очередную пробу, и меня взяли. Потом уже был «Зигзаг удачи».

Этот фильм сыграл большую роль в моей актёрской судьбе. Меня стали узнавать на улице. Ко мне очень часто подходили люди и спрашивали: «Ну как же вы, такая хорошенькая женщина, позволили себя изуродовать?» Делали комплименты: «Вы потрясающе там сыграли!» Меня до сих пор спрашивают про «Зигзаг удачи», из чего я делаю заключение, что эта картина не устарела. Она в нашей стране всё ещё актуальна.

На роль в «Зигзаге удачи» меня утвердили в 1965 году. На моём месте должна была быть Алиса Фрейндлих, но она в тот момент ждала ребёнка, и роль после двух кинопроб досталась мне. Я трепетала. Мне нравился сценарий. Меня пригласил знаменитый режиссёр Эльдар Рязанов, который уже снял и «Карнавальную ночь», и «Берегись автомобиля», и «Девушку без адреса». И я была в восторге от того, что рядом со мной такие мастера, как Евгений Евстигнеев и Евгений Леонов. У Жоры Буркова это была третья картина, но ему было легко влиться в мужской коллектив.

Зимнюю натуру Рязанов начал снимать в феврале. Зима тогда словно где-то заблудилась, стояла промозглая погода, и снег падал и таял на глазах. Тогда Эльдар Александрович принял решение снимать в полторы смены – по двенадцать часов в сутки. Тёплых вагончиков с удобствами, как сейчас, тогда и в помине не было, и все мы ужасно мёрзли.

Ко мне подходили и говорили: «Вы же хорошенькая женщина(!), как же вы позволили себя так изуродовать?»

Практически сразу ко мне подошёл Евстигнеев и по-свойски предложил: «Я тут купил „четвертинку”, посидим потом?» Я с радостью согласилась. К нам присоединился Бурков. Мне так хотелось стать своей в этой блестящей компании. Вскоре нас стали называть тройкой, как хоккеистов.

Съёмки были весёлые, потому что у меня были два таких фантастических партнёра. Они даже как-то тайно немножко соревновались, не хотели друг от друга отстать. Поэтому если начинал говорить один, то другой тут же продолжал.

У Буркова было много историй. Он обладал такой способностью – любой эпизод мог сделать смешным, раскрыть его с неожиданной стороны. Я понимала, что это два таланта, а что они гении – это я потом поняла. Растворяясь в восторге от работы, я пребывала в эйфорическом состоянии. Каждый день съёмок был праздником.

Я знала, как мне надо сниматься. Рязанов на меня орал, и Нина Скуйбина сказала: «Элик, ну что же ты на неё так кричишь?» А он ответил: «Если на неё не кричать, она ничего не сделает». Опять же про себя я подумала: «Очень ошибаетесь, Эльдар Александрович…» Но, конечно, ничего не сказала, молчала как партизан. И очень точно сделала свою роль. Потому что я её очень хорошо знала и очень тонко чувствовала. И я понимала, что режиссёр может говорить всё что угодно, а я делать буду так, как считаю нужным.

Мои товарищи в плане спиртного были настоящими бойцами, а мне хватало пары рюмок, чтобы ощутить волшебное счастье бытия. Но нашему режиссёру эти забавы не нравились. И однажды он сделал нам серьёзное внушение: «Не понимаю, как вы можете себя так вести! Я вас ненавижу и даже презираю. Каждому отправлю в театр „телегу”». А потом повернулся к Евстигнееву: «Женя, сегодня я не смог выбрать ни одного трезвого дубля…» Посмотрел на меня: «А ты, Талызина, вообще монстр!» Повисла напряжённая пауза. И второй режиссёр Володя Досталь покачал головой: «Нехорошо получилось, ребята! А тебя, Валька, больше всех видно!»

Настроение у всех на нуле, но работать всё равно надо. А в перерыве мои друзья снова пошли за угол, но меня не позвали. «Вы что? Решили меня выкинуть?» – с обидой говорю Буркову. А он смеётся: «Валька, ты выпьешь на копейку, а покажешь на рубль!» И Женя, добрая душа, сказал: «Да налей ей!» Я дала слово больше «не выступать», но не удержалась.

Наш прекрасный оператор Володя Нахабцев пять часов по нам выставлял свет. Мы все на улице, озябли как суслики. А чудесный мхатовский артист Алексей Грибов на этом холоде весь съёжился, втянул голову в плечи, а под подбородком у него свисал такой морщинистый зоб. Что на меня нашло? Я схватила великого артиста за эту сморщенную кожу с возгласом: «Ах ты, мой хорошенький!» Бурков с Евстигнеевым просто поползли. А Рязанов бросил на меня удивлённый взгляд.

Грибов был, конечно, великолепным артистом. И чувство юмора у него присутствовало. Про него ходили смешные истории. Одна из них – готовый сюжет для комедии. Однажды я подошла к артисту и расспросила его по существу: «Алексей Николаевич, а правда ли говорят, что вы в Сандунах на пару с Ливановым открыли банку шпрот и пустили в бассейн?»

«Это вы что, мне в любви объясняетесь, что ли?»

– Ну, во-первых, не шпроты, а во-вторых, не с Ливановым, а с Николаем Боголюбовым, – улыбнулся Алексей Николаевич. – В то время Боголюбов как раз снялся в «Великом гражданине». Он был очень, очень знаменитый, слава его гремела по всей стране, его узнавали на улицах. История произошла весной, у нас было очень хорошее настроение. Мы с ним пошли в ресторан «Метрополь», замечательно посидели, выпили и пошли раков покупать. А мы знали, что за «Метрополем» одна красивая женщина, высокая, наверное, прибалтийка, звали её Линда, этих раков продаёт. И мы ещё взяли водки, подошли к ней и купили два килограмма живых раков. И не знали, куда податься… И тут нас осенило: отчего бы нам не пойти в Сандуны?

Я слушала этот рассказ, затаив дыхание.

– Мы перешли дорогу и оказались в бане. Для начала выпили водки, а потом решили, что мы пойдём помоемся, а потом этих раков сварят здесь нам. Кто будет варить раков и где – почему-то мы не видели в этом ничего сложного. Куда больше нас волновала участь бедных раков, которые, как мы рассудили, могут задохнуться, пока мы будем мыться. Значит, надо их пустить в воду. Сказано – сделано! Мы подошли к бассейну и два килограмма живых раков выпустили в воду. Что тут началось! Все стали выскакивать, кричать, звать администрацию. Воду пришлось спускать, раков выловили. Был шум, гвалт. Мы не могли понять, что происходит. Мы думали: ну, раки в бассейне, мы потом бы их выловили и сварили. Пришёл директор Сандунов и спросил: «Кто это сделал?» Я, конечно, выставил Боголюбова, который снялся в «Великом гражданине». Директор посмотрел на нас очень выразительно и сказал: «Идите». Мы забрали свои бутылки и ушли».

Когда мы закончили съёмки, я имела глупость спросить Эльдара Александровича: «Скажите, ну какая разница между мной и Евстигнеевым?» Он ответил не задумываясь: «Я тебе скажу: у Евстигнеева три дубля и все разные, а у тебя три дубля и все одинаковые». И я опять про себя подумала: а зачем разные, когда нужен один дубль, единственный и именно такой, как я его сделала. Я безошибочно чувствовала эту девочку. И потом мне Нина Скуйбина сделала комплимент: «Валя, ты всех там переиграла. Я говорю серьёзно».

Потом Эльдар Александрович скажет обо мне: «Я трижды приглашал Валентину Талызину сняться в моих фильмах. Не забуду нашу первую встречу в фильме „Зигзаг удачи”, потребовавшую от актрисы определённого мужества. Она сыграла приёмщицу фотоателье Алевтину В сценарии говорилось, что Алевтина – „женщина молодая, энергичная, незамужняя и, к сожалению, похожая на своего папу”. Уверен, что не так уж много нашлось бы актрис, которые добровольно согласились бы себя обезобразить, как это сделала Валя. Смелый был шаг! Амплуа в кинематографе действует гораздо сильнее, чем в театре. Но Талызина пошла на риск и победила. Она создала образ, в котором при всей внешней некрасивости была бездна человеческой нежности, доброты и достоинства».

Эльдар Александрович свою угрозу насчёт «телеги», конечно, не выполнил. А картина получилась хорошая, зрители её любят. Я часто вспоминаю то счастливое время, своих партнёров, в которых была влюблена. Конечно, между нами проскакивали искры, и поползновения ко мне как к женщине какие-то

случались, но я слишком дорожила дружбой с этими гениальными актёрами, чтобы разменять её на что-то другое. Я мысли не допускала, боже упаси.

Бурков как-то приехал ко мне домой. Но я так себя повела, что наши дружеские отношения не омрачились. Я только один раз оскоромилась в театре с нашим очень большим артистом, потому что он был очень хороший, и потом мы с ним в семи спектаклях сыграли…

В тот момент моя личная жизнь и без того была такой напряжённой, что о романах на съёмках я даже не помышляла.

У меня долго не получалось забеременеть, и когда мы прожили семь лет, муж вдруг сказал: «Если у нас никого не будет, давай заведём собачку». Ну уж нет, подумала я, никаких собачек! И я пошла к врачу и стала лечиться. Всё увенчалось успехом: я забеременела Ксюшей.

Токсикоз был жуткий, меня выворачивало наизнанку. Моя подруга Галя Дятловская называла Ксюшу, которую я вынашивала, пиявкой. Она так и говорила – «наша пиявка».

Галя меня очень любила, я благодарна ей за дружбу. Я считала, что она умнее, порой она меня подавляла своим напором. В начале моей беременности мы с Галей поехали на юг, в Пицунду. Хотелось погреться на солнышке, поесть фруктов, искупаться в море.

На первом этаже дома отдыха была столовая, мы что-то ели. Умом я понимала, что мне надо завтракать, обедать и ужинать, но каждый раз стоило мне хоть что-то съесть, как всё подкатывало к горлу. Я закрывала рот рукой и пулей вылетала из столовой к реликтовым соснам, где из меня всё съеденное выходило. Галя бежала за мной и говорила: «А теперь ложись, и вот этот кусок творога съедай, чтобы он остался в животе, чтобы эта пиявка не выкидывала…» Это было потрясающе. Потом, когда уже на поздних сроках беременности меня спрашивали: «Кого ты хочешь?», я вяло отвечала: «Галя хочет мальчика, а мне всё равно». Вот такая у нас была дружба.

Мы с Галей служили в одном театре. Когда её однажды сократили, она устроилась работать помощником режиссёра, стала вести спектакли. Делала это она потрясающе. А потом вдруг, неожиданно для всех приготовила моноспектакль, где она была одна, чем меня поразила абсолютно. Спектакль был хороший, очень удачный. Она показывала его Завадскому, и Юрий Александрович заплакал и сказал: «Галя, да ты достойна быть артисткой, мы тебя возвращаем». И потом она уже потрясающе сыграла в спектакле «Совесть».

Галя была фанатка своей профессии. Она тщательно

разрабатывала роли, кропотливо относилась к костюму, к тексту. И я многое у неё почерпнула. Она могла убить, зарезать ради искусства. Такую безусловную преданность театру не часто встретишь. У неё было несколько удачных ролей…

Мы с ней всё время ездили отдыхать в Ялту. Она научила меня плавать. Она научила меня вставать рано, в половине шестого утра и встречать рассвет. Она меня трясла и делала из меня артистку! Галя говорила: «Значит, сейчас мы едим, потом мы спим, потом мы купаемся, потом мы идем гулять. А потом мы уже ничего не едим…» Это был жесточайший режим.

И когда мы возвращались с юга похудевшие, загоревшие, то мой муж Лёнька нас вёл в ресторан, мы там ели по два вторых и одному первому, потому что успевали сильно оголодать.

Мы вместе с ней пережили 1990-е годы, все эти съезды народных депутатов. 1993 год… Я спрашивала: «А вот этот депутат что?» Галя говорила: «Полное говно, приспособленец». Она слушала «Свободу», читала газеты, смотрела все каналы. Моя подруга была очень политизированным человеком.

Мы дружили душа в душу, и казалось, что так будет всегда, до самого конца. Но дружба прекратилась, когда Галя вышла замуж за Лёшу, который был на десять лет её моложе. И вся её жизнь стала подчинена Лёше, точнее, когда появился Лёша, совершенно утратила свою самостоятельность и независимость в суждениях. Она уже ничего не решала и обычно отвечала: «Поговори с Лёшей!» Этого я уже вытерпеть не могла, потому что Лёша – это Лёша, и мы как-то отдалились друг от друга. В театре она уже не работала.

Они сдавали комнату и на эти деньги жили, а сами перебрались в его квартиру, которая была на окраине Москвы. Очень далеко, я туда ездила, по-моему, два раза.

У них были очень хорошие отношения. Лёша работал в филармонии. А потом Галя слегла и уже не встала. Она умерла в 2011 году.

Она была из тех редких людей, которым чужда зависть. Она всегда радовалась чужому успеху. И когда в крематории прощались с Галей, Лёша в состоянии аффекта вышел, поднял руки и произнёс: «Свети и там…»

Однажды мы с Галкой Дятловской попёрлись (не могу подобрать другого слова) в Плёс. Она сказала: «Валя, поедем! Там хорошо, там Волга, осень гениальная, золотая. Собирайся!»

В Плёсе мы познакомились с Таней Распутиной. Красивая была женщина, высокая, глаза с поволокой. Я потом увидела её родителей: миниатюрную, беленькую маму и очень интересного

отца. Так что было понятно, от кого Таня унаследовала свою красоту Конечно, у неё случались какие-то любовные истории.

Она вышла замуж за Илюшу Катаева, композитора. У них была трёхкомнатная просторная квартира. Таня завела себе какую-то шикарную большую собаку, не помню, какой породы. Илюша хорошо зарабатывал, у него была машина. А Таня играла в Театре юного зрителя. Она стильно одевалась и могла себе это позволить с таким мужем, как её Илюша.

Я помню, как притащила ей «дрова» из карельской берёзы. Мне некуда было их положить, и я предложила Тане: «Возьми, это тебе, сделайте что-нибудь». Потом из моих «дров» изготовили фантастически красивые кресла.

Но однажды Таня мне сказала: «Ты знаешь, в моей жизни всё есть: состоятельный муж, общество, квартира, старинная мебель, машина, тряпки, бриллианты. Нет только одного: чтобы утром за мной приезжала машина и везла меня на съёмку». И тут я ей ответила: «Танюшечка, всё, что ты имеешь, надо отдать. Тогда, может быть, машина будет приезжать и за тобой…»

Таня с Илюшей как-то внезапно, совершенно неожиданно уехали в Америку. Зачем они отправились за океан, я не знаю. Может быть, они уехали по еврейской линии, хотя мне эти детали их биографии неизвестны.

И Таня там вначале работала на радио «Свобода», что-то читала, Илюша стал играть в кафе. Когда я в первый раз приехала в Америку, конечно, мне захотелось разыскать мою подругу. Но к сожалению, это оказалось невозможно. Больше нам не суждено было встретиться.

С Таней случилась беда. Она вдруг стала пить. Я узнала об этом, когда она уже умерла. Конечно, это известие меня потрясло. Красивая, ухоженная, излучающая успех женщина сорвалась в пропасть. Не могу отделаться от мысли, что если бы они с Илюшей не уехали в Америку, всё было бы иначе. Не каждый человек может начать жизнь с чистого листа в чужой стране. Одно деревце пересадишь – и вот уже оно пускает крепкие корни на новом месте. А другое не приживается. Начинает болеть, хиреть и умирает. Таким трепетным деревцем оказалась Таня.

Мне рассказали, что она стала пивным алкоголиком. У неё случались запои, и в эти периоды она пила беспробудно. Когда Таня впервые допилась до больницы, врачи её предупредили: «Вам категорически нельзя этого делать, потому что вы на грани. Если будете продолжать пить пиво, то вы умрёте». Она продержалась месяцев шесть и всё-таки сорвалась. Всё началось сначала. Таня умерла от алкоголизма. Ей было около шестидесяти двух лет.

Её дочка Катя осталась здесь, не поехала с родителями в Америку. Перед отъездом они продали свою квартиру и на все вырученные деньги купили Кате дом в Подмосковье. Она вышла замуж.

Из-за непрерывного и изматывающего токсикоза я страшно похудела. Но, как у большинства беременных, мне порой нестерпимо хотелось чего-то особенного. Моя дорога от Малой Грузинской, где мы в то время жили, в Театр имени Моссовета пролегала мимо рынка. И у меня начинали трястись руки от запаха помидоров. Я подходила к прилавку, покупала помидоры и начинала их есть тут же, забыв стыд и не думая о том, как я выгляжу, не сходя с места, и сок тёк по локтям. Тогда я подумала: какая девочка, должен быть мальчик!

Ксюша

Когда я была беременной, я уехала к маме. Мама жила на 1-й улице Строителей. Я уезжала к маме, потому что вынести Лёнины «гастроли» было нельзя. Он напивался и падал. Это был ужас, бессонные ночи. Он приезжал, выпивши, становился на колени и прикладывал голову к моему животу. Так он стоял, прислушиваясь, а потом уезжал в свою жизнь, которая у него била ключом.

До родов одна профессорша, у которой я была на консультации, прикладывала ухо к моему животу и говорила: «Слышу ровное мужское дыхание».

Когда что-то хлюпнуло и вытащили Ксюшу, от меня все отстали. Я, естественно, в полуобморочном состоянии подумала: слава богу, они получили что хотели и оставили меня в покое. И вдруг через минуту-две кто-то сказала: «Девочка!» А потом ещё через несколько минут я услышала: «Хорошенькая!»

Есть такая послеродовая болезнь – мастит. Я лежала с этой болью, ко мне наклонилась сестра и говорит: «А вы же в „Зигзаге удачи" играли!», и как начала хохотать. Я страдала от боли и думала: когда же ты перестанешь смеяться?

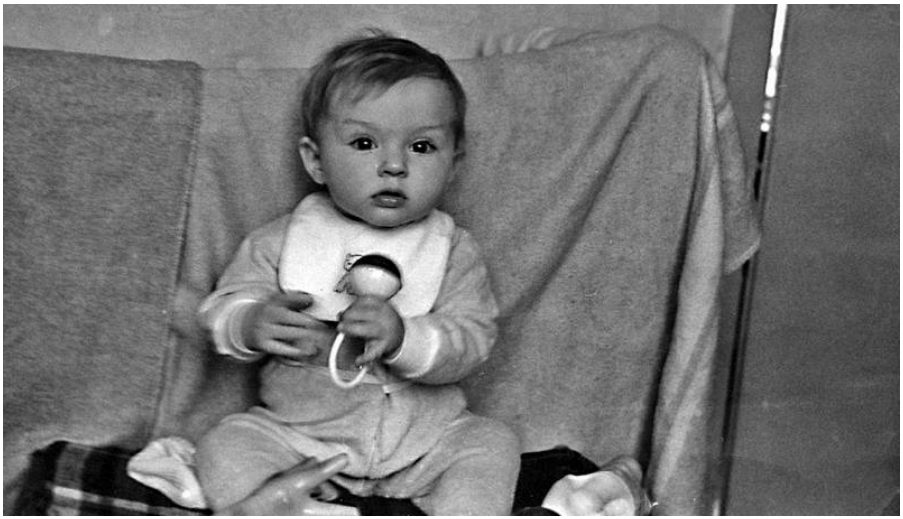
Из роддома Лёня меня не встречал, не знаю, где он был. Встречали две поклонницы – Тамара и Лена, а ещё Жарко, югослав, близкий друг моего приятеля, красавец-мужчина. Я приехала домой, развернула девочку, и Лёнька сказал: «Она похожа на обезьянку!» А девочка с первых дней была потрясающей красоткой. Я любовалась ею и удивлялась, что родила такое чудо.

После родов я вернулась на Малую Грузинскую. У меня было своё молоко, я кормила, взвешивала. Всё делала по науке.

Отцом Лёнька был так себе. Никакой особой любви не чувствовалось. Он, что называется, терпел. Когда я всю ночь не спала, а хотелось хотя бы на два часа отключиться, подкатывала Ксюшу в коляске туда, где спал мой непутёвый муж, а сама быстро проваливалась в сон – отрубалась. Девочка потом начинала кричать, в семь утра. Лёнька ворчал: «Что ты мне эту дурочку подложила!» Он был с юмором.

Во время купания Лёнька всё время приходил и уходил, чтобы выпить, а я держала ребёнка. Я была такой наивной, что не понимала, почему он уходит куда-то. В конце концов его развозило окончательно. Когда я поняла, зачем он отлучается, не выдержала: «Сейчас я тебя убью!» Он ведь мог уронить Ксюшу.

Мама у меня уже болела. Я никого не просила мне помогать – ни свекровь, ни маму, ни Лёньку – и полтора месяца шуровала одна. Всё делала сама. Как-то я вспомнила, что давно не была в душе. Забыла, замоталась.



Ксюша уже сидела

У Лёньки, по-моему, случился очередной роман на стороне. Ну, опять же художники, там каждый день были какие-то праздники и застолья. На очередных каких-то посиделках я вошла и увидела, как мой муж разговаривал с какой-то женщиной. Мне было не до этого абсолютно, но я моментально поняла, что у них отношения. Женская интуиция безошибочна. И я не ошиблась.

Она была восточного типа, звали её, кажется, Заремба. Она однажды позвонила, вроде как знакомая, поздравила меня с девочкой и спросила: «А дали имя?» Я говорю: «Нет. Мы хотим дать имя Заремба». Она ответила: «Ну что ж, это очень удачное имя».

Лёнька крутил роман, а у меня не оставалось времени доехать до загса, пять остановок троллейбуса, чтобы зарегистрировать девочку. И дочь лежала полтора месяца без имени. Это было настолько беспросветно, и я не думала, что когда-то у меня это время появится.

И вот пришёл мой друг Фёдор Чеханков и спросил: «А как назвали-то?» – «Да вот никак…» Мы уже с мужем не разговаривали. Этот его роман стал последней каплей. Мне было всё равно, что с ним. Только думала о том, как самой всё это выдержать.

Фёдор был потрясён до глубины души: «Ребята, это издевательство над человеком. Давайте сейчас сядем и выберем имя». Я тупо сказала: «Давайте сядем и выберем». – «Вот прекрасное имя – Настя…» А мою маму звали Настя. И Лёнька

мрачно сказал: «Мне одной Насти хватает». Чеханков предлагает: «Ну, хорошо, не надо. Давайте выберем имя Вера!» – «Да нет, как-то не то». – «Хорошо, давайте – Катя!»

Мне уже было всё равно, и я сказала: «Ну, давайте Катя». Потом Федю осеняет: «Слушайте, есть потрясающее имя – Ксюша». В то время это было редкое имя. И я сказала: «Решили: Ксения!» И Лёнька согласился: «Пусть будет Ксения!» Федя забрал Лёньку, они поехали и зарегистрировали Ксюшу.

Потом мы сняли дачу, жили на ней я, мама и Ксюша всё лето. Правда, я уже в мае сыграла спектакль. Ксюше было тогда полтора месяца. Помню, мне позвонили из театра, что кто-то заболел, и я сыграла.

Прошёл ещё год. Я разрывалась, хотя у нас была помощница Анна Ивановна. Лёня никак не помогал. А когда Ксюше был 1 год и 2 месяца, я поняла, что дальше так не выдержу.

Ну не получалось соединить меня, пьющего Лёню, мою работу, дочку и эту проходную комнату. По-моему, мама предложила взять ребёнка. И я сказала: «Да, конечно». Где-то подспудно я понимала, что лишаю себя дочери. С другой стороны, мне было ясно, что если я отдам маме её внучку, то у неё будет цель в жизни, её жизнь наполнится, обретёт особый смысл.

Я, Ксюша и мама

И мама воспитывала Ксюшу, мы не знали никаких яслей и детских садов. Я помню, мы пришли в какую-то поликлинику, и мама с гордостью сказала: «Я не могу ждать, у меня ребёнок дома один». И она, конечно, обожала Ксюшу. И часто говорила: «Вот все говорят, что она красивая, а я вот не вижу ничего в ней красивого».

Мы получили кооперативную квартиру на Большой Никитской и наконец съехались. Актёрский кооператив строился почти одиннадцать лет, мы менялись вместе с линией партии.

Дом заложили в 1963 году, а въехали мы в 1973-м. Это место не предназначалось для артистов. Рядом построили ещё два дома: один от ЦК КПСС, другой от Совета Министров. Артисты здесь не предполагались: не по Сеньке шапка. И только безумная Сара Бригман верила: «Мы добьёмся, не надо уходить, мы дождёмся, вы потом меня вспомните…» И мы дождались…

Мы с Лёней прожили 12 лет. Я хотела ещё детей, потому что двое лучше, чем один. Как-то предложила мужу: «Давай ещё родим!» А он ответил: «Ну, если породу не испортишь, родим ещё!» Слова хлестнули как хлыстом.

Лёня зарабатывал очень хорошо. Художники тогда не бедствовали. Но получалось по принципу «то пусто, то густо». То мы не нуждались ни в чём, то сидели на мели, но у Ксюши всегда всё было. Мы могли купаться в деньгах, если бы не Лёнина страсть к выпивке. Однажды он сказал: «Я знаю, что у тебя в заначке есть бутылка». – «Нет, не дам. У меня никакой заначки нет…» – «Я знаю, что есть!» – «Нет, не дам!» – «Ты ещё пожалеешь!»

А он как раз должен был получить крупную сумму за один заказ. Ушёл из дома, стукнул дверью и три дня не приходил. Я не волновалась: такие загулы случались. Вернулся помятый, с красными, воспалёнными глазами. Я налила ему клюквенный морс. Он выпил, а когда я сказала: «Лёня, вроде как ты должен был получить деньги?», ухмыльнулся: «Твоя заначка тебе стоила всех этих денег…» Он был с юмором.

Однажды я проснулась ночью от какого-то шелеста. Я одна в доме, непонятный шорох пугал. Пошла на этот звук, открыла входную дверь: на пороге спал мой муж в ворохе бумаг.

Конечно, было у нас и хорошее. Лёня – мягкий, добрый, щедрый, остроумный, лиричный. Знал потрясающие стихи. И конечно, через общение с ним я влетела в какую-то другую область. Как-то мы с Лёней и его другом Юрой Ивановым пошли на выставку, и я со своей прямотой спросила: «Юра, а что это значит?» – «Валя, зачем тебе знать, что значит? Ты ходи и просто воспринимай, обязательно тебе надо сказать, что это значит. Ничего не значит. Что воспримешь, то и есть».

Он не любил во мне жёсткость. Какие-то расчёты ненавидел во мне. А я уже не могла иначе. Театр и вся моя жизнь этому способствовали. И однажды он бросил в лицо мне слова: «Ты живёшь со мной ради денег», чем меня, конечно, обидел больше, чем всё его пьянство.

Помню, я приехала домой после страшно тяжёлого дня. Утром репетировали в театре спектакль «Дядюшкин сон», где мне упорно не давалась роль, потом я поехала к Ирине Сергеевне

домой на «дополнительные занятия», добралась полумёртвая в свою квартиру, и вдруг звонок: «Валя, тут Ленька в кусках, приезжай, забери его!» – «Хорошо, где вы находитесь?» – «Там-то и там-то…» А я была исчерпана, опустошена эмоционально и физически, но вышла, взяла такси и поехала за ним. Лёнька лыка не вязал. Я забрала своего непутёвого мужа, привезла домой и опять села за роль. Но сил оставалось только на то, чтобы рухнуть в постель.

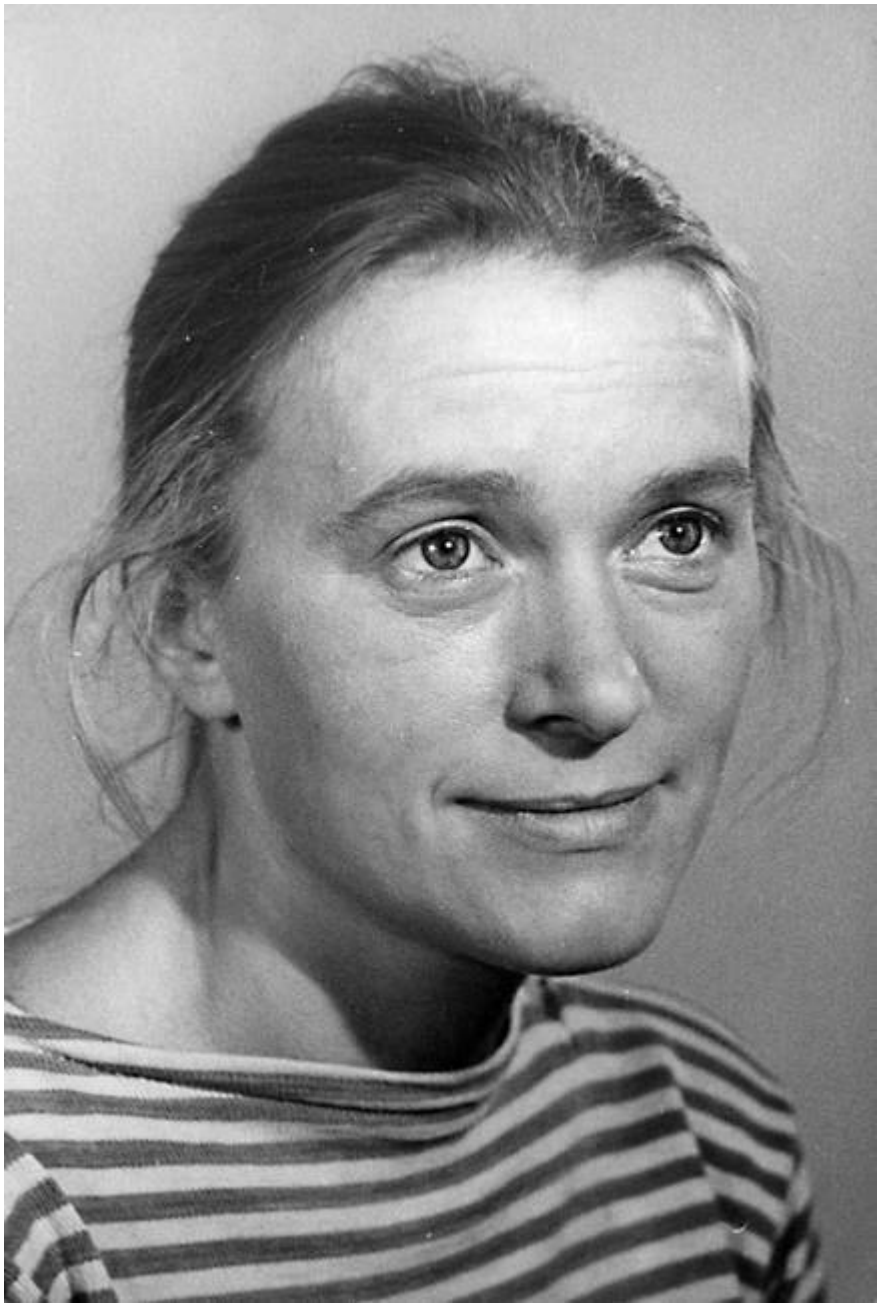
Я терпела всё это. И интрижки его терпела. Потом, когда у него случился роман с его будущей женой, её звали Таня, он мне сказал, что уходит, что у нас с ним жизни не может быть.

Чтобы вытащить Лёню из этого омута, надо было посвятить ему жизнь. Я интуитивно поняла: или я вытаскиваю его, или занимаюсь собой и своей работой. Мой путь в профессию потребовал столько сил и труда, что у меня не было сомнения, что мне делать. Я не испытывала колебаний. Может быть, я не очень сильно его любила. Может быть…

А потом, когда я получила кооперативную квартиру, вопрос встал ребром. Наша совместная жизнь с мамой и Ксюшей была невозможна. Мама и Лёня не любили друг друга. Ему в ней претило всё это кондовое, сибирское. А она не выносила его алкоголизм.

Мама говорила: «Как он ни возьмёт Ксюшу, она обязательно простынет…» Там была пропасть. Но я не решалась на окончательный разрыв с мужем.

Картина «Иванов катер» перевернула всю мою жизнь. За те полгода, что продолжались съёмки, у меня изменилось мировоззрение, я стала другим человеком. Наверное, это результат влияния такой личности, как режиссёр Марк Осипьян. Фильм «Иванов катер» оказался каким-то мистическим, он странно подействовал на судьбы многих членов съёмочной группы. Так бывает, и многие актёры подтвердят, что сталкивались с этим необъяснимым феноменом, когда канва жизни героя или магия самого произведения творили роковые вещи.



Кинопроба. «Иванов катер» – Еленка

У меня никогда не было никаких романов на съёмках. А с Юрой Орловым случилось…

Я всё пыталась понять, что же произошло на тех съёмках,

почему нам всем «снесло крышу»? Наверное, потому, что мы полгода не были дома и все эти месяцы жили в узком, замкнутом мире. Полгода безвылазно просидели в Камышине. У каждого своя, отдельная каюта, но всё равно слишком большое поле соприкосновения. Мы обсуждали, как эту роль делать. Потом я стала замечать, что режиссёру это безумно не нравится. И Марк Данилович Осипьян, восточный человек, с какой-то деспотичностью требовал, чтобы у нас всё было по правде.

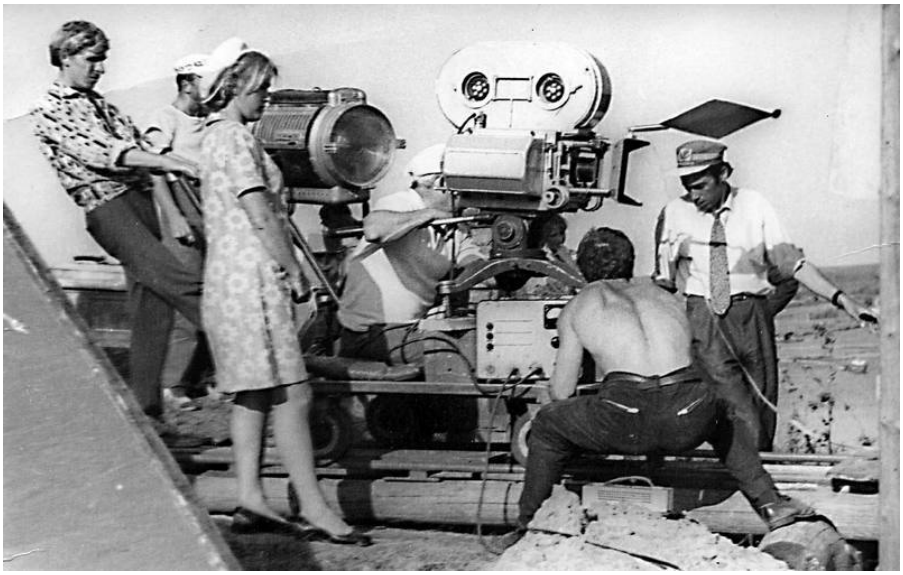
Осипьян сказал нам с Юрой: «Вы должны вместе ходить, чтобы это была настоящая любовь, а не пошлая история». Орлов был настолько хорош – с ума сойти. Я в него влюбилась с ходу. Влюбилась смертельно, и у нас случился короткий роман. Мне кажется, что если бы в моей семейной жизни в тот момент всё было хорошо, этого бы не произошло. Вообще на меня всегда действовала атмосфера съёмок, я как-то в ней растворялась.

Юра был необыкновенно, немыслимо красив той особой мужской красотой, которая сводит женщин с ума. И я тоже не смогла устоять перед силой этой чувственной волны, которая нахлынула на нас и накрыла с головой. Но закончились съёмки, и мы с Юрой расстались. Он уехал к своей красавице жене Свете в Таллинн, где они тогда работали, а я вернулась в Москву.

Жизнь у нашей съёмочной группы пошла наперекор Начались разводы. У Юры, у Петра Вельяминова, у Марка Осипьяна. И у меня.

Когда я приехала домой, муж объявил: «Всё, хватит!» У него появилась другая женщина – Татьяна. Разумом я понимала, что будущего у нас с Лёней нет. Но всё-таки просила его: «Подумай, может, не надо, у нас семья, у нас ребёнок». Я ведь дала себе слово, что обязательно сохраню отца для своего ребёнка… Безотцовщина – это ужасно. Но Лёня был непреклонен: «Нет, зачем врать друг другу?» Это было его решение.

Он уходил к женщине, а я оставалась с кооперативом, за который нужно было выплачивать, с мамой, Ксюшей и актёрской зарплатой. Я получала 134 рубля в театре, а 75 рублей платила за эту квартиру. И свекровь Фаина Васильевна сказала мне: «Ну, ты же не обидишь Лёню. Вы расходитесь, ну и отдай ему 20-метровую комнату в сталинском доме». Я подумала: Фаина Васильевна приходит учить Ксюшу играть на пианино, она всё-таки бабушка, а он всё-таки отец. Я не обидела Лёню, а могла бы сказать: он уходит – пусть уходит.



На съёмках «Иванов катер» на реке Унжа. Была жара…

Один раз я даже позвонила Татьяне: «Что ты делаешь? Ты разрушаешь семью, уводишь отца от ребёнка!» Она бросила трубку. Потом она сказала Лёне, что им надо расстаться. Это была её реакция на мою вспышку.

Потом они поженились и уехали в Мексику. Сначала пили вместе с утра до вечера. Поэтому, наверное, и родили больного ребёнка. Я не знаю, когда они перестали пить. Но Татьяне удалось остановиться самой и остановить Лёню.

Конечно, сняться в те годы в кино было большим везением. На самом деле сейчас всё то же самое. Ничего не изменилось. Хотя мало кто из моих коллег публично признаётся в том, что ждёт звонка с предложением сняться. Все любят порассуждать о том, как их заваливают сценариями, а они отказываются, отказываются, отказываются…

Что даёт нам кино? Известность, деньги, ощущение востребованности. Тебя замечают не только на сцене, но и на большом экране. Именно киноролям артисты обязаны своей славой. И в общем-то большинство знаменитых актёров с удовольствием снимаются.

Помню, как меня впервые пригласили на кинопробу. Фильм назывался «Водил поезда машинист». Это была история про

русскую девушку Ольгу Ручьёву, которую угнали фашисты. Она работала стрелочницей на полустанке, а мимо проходили эшелоны с военнопленными. Ольга с помощью машиниста пыталась устроить побег.

В фильме сыграл Георгий Жжёнов. Он стал настоящим открытием. Это был его взлёт в профессии. Он поражал своей глубиной, своей сосредоточенностью.

Судьба Георгия Степановича полна драматизма. В 22 года он был арестован «за шпионаж», потому что случайно оказался в одном поезде с американским дипломатом. Жжёнов получил 17 лет лагерей. Он сидел на Магадане долго, а после освобождения служил в местном драматическом театре. Когда ему делали комплименты, он отшучивался: «Я там законсервировался!»

Картина снималась в Одессе. И меня пригласили на пробу, я впервые приехала в город у моря. Что сказать? Это было потрясающе. Я ходила по Одессе. Естественно, я таких городов раньше не видала. Это был 1959 год, первый год моей работы в Театре имени Моссовета. Мне всё нравилось: и платаны, и люди, и солнце, и море. Я была действительно счастлива, ощущая себя настоящей артисткой, приехавшей на пробы. Наконец-то это случилось со мной.

Так вышло, что пробу почему-то назначили на следующий день, и у меня образовалось «окно» – двадцать четыре часа свободы. Поэтому я отправилась гулять по городу.

Я шла по улице в праздничном настроении, мимо потрясающе красивой вокзальной площади, наполненной шумными одесситами и приезжими.

В тот раз на Привоз я не попала. Потом я много снималась в Одессе, и если мне надо было поднять настроение, отправлялась на Привоз, где всегда кипит жизнь и раздаются славные одесские шутки. Юмор там, конечно, особенный.

А тогда я просто впитывала запахи и впечатления приморского города. По дороге купила украинскую паляницу – с ароматной белоснежной мякотью и поджаристой корочкой. Хлеб мне был совершенно не нужен, но я не могла удержаться. Я положила эту паляницу в сумочку, без газетки, без всякого мешочка, просто так. А потом увидела женщину, которая торговала перезрелыми сливами, от которых плыл дурманящий запах. Подхожу: «Мне полкило…» Одесситка спрашивает: «А куда положить?» А у меня в сумке эта белая паляница, и другого места для слив нет. И женщина с ходу выдает: «Ну и что сейчас будет? У вас сейчас получатся вареники з вишней! Давайте я вам дам газетку, а лучше пергамент…»

Нагулявшись по городу, я пошла на пляж. Я впервые увидела

море и совсем обалдела от этой синей воды в белых кружевах прибоя, от горячего, обжигающего ноги песка.

Наверное, по мне было сразу видно, что я приезжая. Я устроилась на пляже, но одна просидела недолго: какая-то компания пригласила меня играть в карты. Тогда это было принято на курортах. Приглашение поиграть – отличный повод для знакомства.

Я с радостью согласилась. Сидела, играла в карты, потом купалась и пребывала в полном восторге. Никому не сказала, что я артистка, никто не знал, что я приехала на кинопробу.

А остановилась я в гостинице от киностудии под названием «Куряж». Почему такое название? Бог весть. Это было одноэтажное общежитие: обыкновенные комнаты, коридорная система, удобства на этаже – ничего особенного.

Пока мы играли в карты, вдруг очень быстро – раз и стемнело, как это бывает только на юге. Солнце упало в море, и опустилась кромешная мгла. Я встала и заторопилась: «Ой, я пойду, пойду…» И около меня оказался одессит, я бы сказала – такой стопроцентный одессит. У него были вставные стальные зубы, чуть ли не передние. Так что он производил впечатление отнюдь не консерваторского мальчика. Он сказал: «Я тебя провожу». И вот мы идём по тёмной Одессе, и он предлагает где-то тут недалеко устроиться. Мне сделалось жутко.

Я очень мало пользовалась в жизни своей профессией. Но тут я попала в такой переплёт, что надо было срочно действовать. Эти стальные зубы, поблескивавшие в южной ночи, наводили на меня ужас. Я понимала, что страх лучше не выказывать, потому что это может спровоцировать агрессию. Безопаснее всего было притвориться, будто я согласна, и безмятежным голосом я предложила своему новому знакомому: «Мы сейчас дойдём до гостиницы, и тогда всё будет. Это ведь лучше, чем тут, в песке, неизвестно как…»

Между нами говоря, я ещё была девушкой. И он, дурачок, согласился. А когда мы подошли к гостинице, я сказала: «Ты знаешь, у меня завтра пробы, я артистка. Рано вставать, у меня должно быть лицо, я не могу позволить себе никаких приключений». Ну, не знаю, то ли я играла, то ли нет, но он понял, что всё дело обломилось. Таким был мой первый день в Одессе. Потом я много снималась в этом городе у моря.

…Шесть лет в театре я отбарабанила с ролями комсомолок. Наверное, у меня это хорошо получалось, но хотелось всё-таки попробовать себя в другом, более интересном амплуа. С комсомолками я рассталась благодаря Инне Данкман, которая

поставила чудесный детский спектакль «Когда часы пробили полночь». Хорошую девочку сыграла Нелли Молчадская, а мне досталась роль дочери Людоеда – Маргариты Людоед очки. Что я только не выделывала на сцене! Раскованная получилась Людоедочка. Роль вышла очень яркая.

Она из моих комсомолок. Слабиняк и я

После премьеры ко мне подошла Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Она всегда была тонкая, очень деликатная, умная до потери пульса. Сама подошла ко мне – снизошла: «Валя, я вас поздравляю, вы очень хорошо сыграли эту Маргариту Людоедочку». И тут я решилась, хотя в театре была жесточайшая дисциплина и строгая иерархия, и сказала: «Да, Ирина Сергеевна, вы говорите, что я молодец, но тем не менее вы меня ни разу за шесть лет не пригласили в свои спектакли». Она улыбнулась: «Ну, посмотрим, а может быть, приглашу».

А они уже с Михаилом Семёновичем говорили о спектакле «Дядюшкин сон» и не знали, кого назначить красавицей Зинаидой. И Михаил Семёнович дал совет: «Да возьмите Талызину, она вам всё сделает хорошо!» И Ирина Сергеевна сказала: «Талызина когда хочет – она красивая, а когда не захочет – она некрасивая».

Так счастливо вышло, что она в моей хулиганке Людоед очке

разглядела героиню Достоевского! Она дала мне Зинаиду в «Дядюшкином сне». Я получила настоящую роль, большую, классическую, о которой даже не мечтала. И начались мои хождения по мукам, потому что мою мать в спектакле играла Фаина Раневская.

Она поначалу невзлюбила меня. Не то чтобы уж совсем гнобила, но относилась плохо. А потом полюбила. У Фаины Георгиевны был очень трудный характер. Это сейчас она возведена на пьедестал.

Из-за Фаины Георгиевны однажды на репетиции «Дядюшкина сна» Ирину Сергеевну Анисимову-Вульф отвезли в больницу с воспалением лёгких на нервной почве. Фуфа – так называли Раневскую в театре – могла довести кого угодно! А ведь Ирина Сергеевна, дочь Павлы Леонтьевны Вульф, была для Раневской всем. Это к старости Фаина Георгиевна стала более терпимой и благодарной.

Как-то на репетиции она веером ударила по голове Юрия Александровича Завадского, коротко так, по лысине «бамс»! Я не присутствовала при этом инциденте, но в анналах театра это есть.

Они с Завадским были антиподами. Юрий Александрович – эстет, спокойный, иногда даже флегматичный, а Фаина Георгиевна отличалась безумным темпераментом, она вспыхивала как свеча. После того случая на репетиции, когда веер был использован не по назначению, Завадский бросил свои карандаши и вышел. Фаине Георгиевне пришлось уйти из театра.

Она считала Юрия Александровича бессердечным человеком и не любила его. Она мне рассказывала историю, как они были на гастролях где-то в Донецке. Стояла жара, в горячем воздухе висела угольная пыль, и Фаине стало нехорошо. Она попросила по пути заехать в поликлинику, чтобы сделать кардиограмму. Завадский остался ждать в машине. Врач сказал Раневской, что у неё стенокардия. Она, конечно, расстроилась, все эмоции были на лице. В машине Завадский спросил: «Что сказал врач?» Фаина назвала диагноз. Юрий Александрович помолчал, а потом вдруг запел: «Стенокардиии-и-и-ия, стенокардиии-и-и-я!» «У него нет сердца!» – сказала мне Раневская.

Фаина Георгиевна вернулась в театр в 1963 году. Она появилась через год или два после меня: поругалась в Пушкинском театре и перешла к нам. И для неё ставился спектакль. У неё талант был большой, и она всех мерила со своего уровня. Она иначе не могла. Ей все плохо играли. Увидев меня, она сказала: «Боже, какая некрасивая!» Мне это, конечно, передали. А я зажалась, как бобик, не разжималась вообще.

Однажды я заболела гриппом, и моя мама, простая женщина,

предложила народное средство: «Валя, давай чеснок ешь, тогда быстро поправишься!» Я пришла в ужас: «Мама, какой чеснок! У меня репетиция!» Но мама всё-таки поступила по-своему: положила чеснок в котлеты. На репетиции я произнесла свою реплику: «Маменька!» Фаина Георгиевна, уловив чесночный запах, отшатнулась: «Ой, это ужасно!» Всё, я зажалась окончательно.

Шло время. Мы репетировали, но у меня ничего не получалось. В присутствии Раневской я просто цепенела и чувствовала себя, как кролик перед удавом. Руки-ноги отнимались, я даже слова произнести не могла.

Конечно, после всех этих комсомольских ролей и Людоедочки сыграть героиню Достоевского было непросто. К тому же я оказалась в таком аристократическом окружении. Ирина Сергеевна с Фаиной Георгиевной часто переходили на французский. А я учила немецкий и, естественно, сидела как тумбочка и ничего не понимала. Они говорили по-французски не из снобизма, это было естественно для людей их круга.

Уже пошли прогоны. И однажды ко мне подошла Ирина Сергеевна и сказала: «Валя, вы чувствуете, что проваливаете роль?» – «Да». – «Приезжайте ко мне сегодня домой, и мы с вами порепетируем: ещё раз пройдём по действию, по предлагаемым обстоятельствам, по образу!»

В тот же день я была у неё. Мы всё прошли, и ничего мне не помогло. А закончился этот длинный-предлинный день грубой прозой жизни: мне пришлось забирать своего напившегося в хлам мужа-художника из гостей.

В театре мне уже сшили потрясающей красоты платье: бело-розовое, воздушное, как пена. Затянутая в корсет, я пришла на грим. И наша гримёрша Елена Ивановна, у которой любимое словечко было «чичас», сделала мне лицо. Она только приговаривала: «Чичас мы носик подтянем, чичас мы бровки нарисуем, чичас мы паричок наденем!» Когда я в роскошном платье и гриме подошла к зеркалу, даже не сразу поняла. «Кто это? – подумала я. – Это я, Валя Талызина».

На сцене все уже были в костюмах, но моё появление вызвало настоящий фурор, потому что я полностью преобразилась. В последней сцене у меня произошёл прорыв: я как выдала со всей силой голоса и темперамента на весь зал: «Князь! Князь! Простите меня!» Фаина Георгиевна не удержалась: это же «Мелодрама!» А Ирина Сергеевна сказала: «Хорошо, хорошо!» Она почувствовала, что из меня хлынуло.

И началось выздоровление. Я и пела, и играла. Естественно, легко. И от моей зажатости не осталось и следа.

На гастролях Театра имени Моссовета в Париже «Дядюшкин сон» имел огромный успех. Про меня писали газеты, и зрители шли смотреть на «русскую красоту».

После «Дядюшкина сна» я поднялась на другую ступень в театре и стала артисткой Ирины Сергеевны. Она действительно ко мне хорошо относилась. Ставила спектакль «Затейник», и я играла главную роль. Потом она взяла «Последнюю жертву» и назначила меня Юлией Павловной Тугиной, а роль тётки Глафиры досталась Фаине Георгиевне Раневской. И тут уже она ко мне относилась хорошо.

Спектакль «Затейник» Розова ставила И. С. Вульф. Марков и я

Помню, я прибегала на репетицию взмыленная, красная, с какой-то съёмки или с озвучивания. И опять мне не давался первый выход. Сквозила какая-то фальшь. И Фаина Георгиевна это почувствовала, у неё ухо было гениальное.

Да и вся моя жизнь в тот момент не очень способствовала растворению в искусстве. Раневская ласково спрашивала: «Деточка, откуда мы сейчас прибежали? Вы как из бани!» Я честно отвечала: «У меня была съёмка, Фаина Геогриевна!» – «Деточка, ну как же можно бегать на съёмки, когда вы репетируете такую роль?!» Я промолчала. Раневская сказала: «Валечка, но ваша

героиня пришла из церкви! Она молилась в храме, у вас звучание должно быть другое. Вы сходите туда». И я, конечно, пошла.

Я человек верующий. Впервые я попала в храм в войну в Омске, когда мне было лет восемь. Народу было миллион, полная церковь. Я пошла-пошла и сразу оказалась напротив алтаря. И я стояла там. Потом началась служба. Рядом была девочка Нина, мы познакомились. Я впервые осеняла себя крестным знамением, но была некрещёная. А бедная моя бабушка, по отцу Серафима Николаевна, избегалась вокруг храма и искала меня повсюду, а я стояла и клала поклоны. Это было первое моё посещение храма. Крещение я приняла в Москве, уже во взрослом возрасте. Но это я сразу приняла абсолютно.

У Островского вообще особая драматургия. У него речь такая, что её нельзя по-другому говорить, её надо говорить только так, как написано, потому что там важна каждая буква. Там своеобразная мелодия, в ней заложены какие-то символы.

Мне удалось добиться звучания первой сцены. А потом оно как-то перешло в фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Это абсолютно точно. Если бы я сейчас его озвучивала, то у меня не было бы этих интонаций, которые прозвучали в фильме. Все ведь до сих пор оценивают мою работу очень высоко.

В середине репетиции спектакля «Последняя жертва» Ирина Сергеевна ушла совсем. Навсегда.

И это для нас было крахом. Мы были растеряны, мы рыдали. Что будет со спектаклем? И Завадский ничего не говорил. А мы половину уже отрепетировали.

Ирина Сергеевна была у Завадского четвёртой женой. Юрий Александрович её оставил ради Улановой. Женщины его любили. А к Галине Сергеевне он потрясающе относился. Ходил на все её балеты, даже после того, как они расстались. Танцевала она божественно, это было что-то неземное.

Причина их разрыва мне неизвестна. Для Завадского Уланова была богиней. Театральный критик Борис Поюровский, который дружил и с Галиной Сергеевной, и с Юрием Александровичем, рассказывал, как однажды пришёл к Завадскому, и вдруг звонит Уланова: «Юра, приезжай, у нас есть салат, и мы сейчас тут организуем стол!» И тот сказал: «Боря, извините, но я с вами разговаривать не могу, я еду к Галине Сергеевне Утановой».

Судьба спектакля «Последняя жертва» складывалась драматически. Скоропостижный уход Ирины Сергеевны означал крах постановки. И вдруг режиссёр Юра Галкин предложил: «А давайте мы «Последнюю жертву» всё-таки поставим, потому что Ирина Сергеевна начала её репетировать». А Юра Галкин был её учеником на режиссёрском факультете. И мы все согласились.

Оставалась одна Фаина Георгиевна, с которой было непонятно: то ли она будет репетировать внепланово, доделывать с нами этот спектакль, то ли не будет.

Мы пришли к ней домой и стали пытать: «Вы будете репетировать или нет?» И она ответила: «Да, я буду репетировать». Это было из ряда вон, потому что Раневская уже находилась в возрасте, ей было тяжело, но в память Ирины Сергеевны она сказала «да». И мы, Марков, Бортников и я, окрылённые, что Раневская с нами, стали репетировать каждый день по нескольку часов.

«Последняя жертва» узнает, что Дульгин женится на другой

И мы сделали весь спектакль на ногах в репетиционном зале и пригласили Юрия Александровича Завадского. И показали ему всё. И когда мы закончили, Завадский плакал, потрясённый, что мы сделали. Мы весь спектакль собрали, подготовили, с музыкой – всё, всё, всё. Осталось только сделать декорации и сшить костюмы.

Фаина Георгиевна была безумно одиноким человеком и очень страдала и от своего одиночества, и от старости, и от болезней. По-моему, половину её знаменитых афоризмов ей приписывают. Я лично только два слышала от неё за всё время нашего знакомства. Издатель Захаров, наверное, сделал себе состояние на Фаине Георгиевне.

Раневскую мечтал снять великий режиссёр Сергей Эйзенштейн. В картине «Иван Грозный» он предложил ей роль Ефросиньи Старицкой, однако Фаина Георгиевна не прошла кинопробы, так как, по словам министра кинематографии Большакова, «семитские черты Раневской очень ярко проступали, особенно на крупных планах». По иронии судьбы роль Старицкой сыграла другая актриса с не менее выраженными еврейскими

чертами лица – Серафима Бирман. Так что, по всей видимости, проблема заключалась не в происхождении Раневской, а в ней самой.

Фаина Георгиевна не знала, что потерей роли, которая была почти что у неё в руках, она обязана Ивану Большакову, и сильно гневалась на Эйзенштейна, называя его предателем. Фаина Георгиевна во всеуслышание заявляла, что никогда, нигде и ни за что она не станет сниматься «у этого изверга» и что в случае, если ей будет грозить голодная смерть, она скорее начнёт «торговать кожей с собственной задницы, чем играть эту Ефросинью». Сергей Эйзенштейн послал в ответ телеграмму, в которой интересовался: «Как идёт торговля?»

На Серафиму Бирман Фаина тоже затаила обиду Они не разговаривали пятнадцать лет.

Когда мы начали репетировать «Дядюшкин сон», все роли были распределены. На роль Карпухиной была назначена очень симпатичная актриса Нелли Молчадская.

Роль Карпухиной эксцентрическая, мощная, полный противовес Марье Александровне Москалёвой – «первой даме в Мордасове», которую играла Раневская. И Фаина Георгиевна сказала, что Молчадская не может играть Карпухину и её нужно снять с роли. И её сняли. Конечно, это была трагедия. Фаина оказалась жестокой. У Нелли должен был быть переход на возрастные роли, но этого не случилось.

А Ирина Сергеевна очень её любила, но она, сжав зубы, согласилась, чтобы Нелли убрали со спектакля. Это был спектакль Раневской.

Естественно, встал вопрос: кого назначить на роль. И Раневская сказала: «Эту роль может играть только Бирман». Она не разговаривала с Серафимой Бирман 15 лет! Но Фаина… она же творческий человек и всё готова была отдать за искусство.

Начались репетиции. У Бирман была одна сцена. Я сижу за роялем, Фуфа – на первом плане, а кругом сидят женщины Мордасова. Их было много.

Вдруг нам сообщили, что в театр придёт американский драматург Артур Миллер с женой. Что тут началось! Какие-то репетиции, какие-то прогоны, какая-то суета. Вызвали Фуфу, вызвали всех нас: Артур Миллер будет смотреть спектакль!

Пошёл спектакль. Все волновались. Подходит та самая сцена с Серафимой Бирман. А сцена звучит примерно так: «А-а, Марья Александровна, – Бирман говорит Фуфе. – Как доносить и рассказывать, что происходит у Мордасова, так это Карпухина, а как пригласить на чашку шоколада, так меня нет! Вот вы какая, Марья Александровна!»

Выходит Бирман. Она придумала себе фантастический костюм: в валенках, юбке, шапке, шали, то есть это было чучело номер один. На нас – платья, корсеты. Фуфа была в бриллиантах, а Бирман выглядела таким чучелом.

Она вбежала на сцену и закричала: «А, Марья Александровна, как доносить и рассказывать, что происходит у Мордасова, так это Карпухина, а как…» И вдруг – тишина! Видимо, перед ней возник белый лист бумаги, и она забыла дальше текст…

Все бабы, их было восемь-девять, начали суфлировать: «… чашку шоколада…» И тут Фуфа не выдержала: «Боже мой, она забыла текст, надо же было дожить до такого маразма, она забыла текст, она не помнит текста!..» Бирман стоит, все громко шипят: «Чашку шоколада, чашку шоколада…» Не может она вспомнить, хоть убей, и не может сообразить, чего от неё хотят! И Фуфа бежит и кричит, что Бирман в полном маразме. Наконец бабы ещё громче подсказывают реплику про эту проклятую чашку шоколада. И Бирман говорит: «Чашку шоколада! Да помню я!..» И пошёл занавес, потому что все хохотали до потери пульса.

И знаете, что сказал Артур Миллер? Он сказал, что лучше всех играет Бирман.

Не Фуфа, не я, а Бирман, которая играет первым номером.

Мы – Ирина Сергеевна, Бортников, Михайлов и я – пришли к Фуфе домой праздновать премьеру «Дядюшкина сна». У неё была двухкомнатная квартира на Котельнической набережной. Помню, она сказала: «В эту комнату не входить, это комната сестры», а сестры уже не было. Комната стояла закрытая, Фаина туда не входила никогда.

Её домработница что-то поставила на стол, что-то мы купили и принесли с собой. Была у нас бутылка вина. Сели за стол. И начал звонить телефон и звонил постоянно. Видимо, звонили все те, кто смотрел спектакль. Фаина один раз взяла трубку, второй раз, может, третий, а на четвёртый она сказала: «Да, да, да. Извините, я не могу говорить, я из автомата» и положила трубку. Вот это было, при этом я присутствовала. Мы, конечно, все захохотали, и больше она к телефону не подходила. Потому что мы ей говорили: «Фаина Георгиевна, вы или отвечайте по телефону, или с нами сидите».

У Раневской была пронзительная душа, она всё очень тонко чувствовала. Она мне однажды рассказала, как к ней пришла наш театральный фотограф Петрусова и восхитилась: «Ой, какие у вас духи!» Фаина Георгиевна тут же протянула ей флакон: «Возьмите». А потом говорила: «Ей так хотелось, и я не смогла не отдать духи».

А Фуфа была ну не то что нищая, но совсем небогатая. Она получала зарплату 400 рублей, так как она уже была народная артистка СССР. Она не снималась, книгу не писала, хотя два раза получала аванс, но так и не собралась. Так что, я думаю, денег у неё было немного. Потом на ней была собака Мальчик, домработница, которая вечно её обманывала. И ещё Раневская всё раздавала. Потом она всегда помогала семье Ирины Сергеевны и Павлы Леонтьевны. Что у Фаины Георгиевны оставалось? Ничего.

Я помню, зашла ко мне перед Восьмым марта Маша Вишнякова и говорит: «Ты знаешь, мы вчера с Фаиной Георгиевной про тебя говорили». А я только что пришла из магазина «Овощи и фрукты», который был напротив нашего театра. Я отстояла два часа в очереди за свежими огурцами. Сейчас овощи и фрукты продают круглый год, независимо от сезона. А тогда первые огурчики были страшным дефицитом. Спрашиваю Машу: «Ну и что же вы обо мне говорили?» – «Фаина Георгиевна сказала, что Талызина лучше меня». – «Почему?» – «Потому что она умеет играть и героинь, и характерные роли». Я взяла связку огурцов и сказала ей: «Отнеси это Фаине Георгиевне!»

Последняя наша с ней встреча была, когда я вернулась из поездки во Францию. В Орлеане я зашла в парфюмерную лавку и обалдела и от духов, и от того волшебного изобилия, которое там было. А продавщица что-то чистила, она то ныряла под прилавок, то показывалась. И потом она вышла, увидела, что в магазине никого нет, кроме меня, растерянной девочки из далекой России. А я тогда очень любила духи «Анаис Анаис», а в витринах стояло не меньше десяти флаконов разных этих «Анаис Анаис»! Вообще, всё не так дорого стоило, но у меня денег на духи, конечно, не было.

Продавщица меня спросила: «Откуда вы?» Я сказала, что из России: «Jo si actriss, Jo si russ». Я не играла, но, наверное, мой взгляд был такой выразительный, что француженка сказала: «Один момент», – и пошла за кулисы, туда, к себе, и вынесла целую коробку духов.

Это были демонстрационные пробники в больших флаконах. Я ахнула. После наших магазинов с их вечным дефицитом передо мной лежало настоящее богатство. Там было много духов, очень хороших, а некоторые – в двух экземплярах. Я выбрала чёрный флакон – теперь уже не помню, как назывались духи.

Фаину Георгиевну я увидела в театре, когда она пришла на сбор труппы. Я догнала её на лестнице и окликнула: «Фаина Георгиевна». – «А кто это?» – она уже видела плохо. «Это я, Валя Талызина». – «Валечка!» Я взяла её руку, говорю: «Фаина

Георгиевна, я хочу вам подарить духи», – и пшикнула ей на ладонь: «Понюхайте, они вам нравятся?» – «Да, очень». – «Тогда возьмите». Она очень любила духи. Это последняя наша с ней была встреча. Больше мы с ней не виделись.

«Дядюшкин сон» повезли в Париж. Я очень хорошо играла свою роль. Французские газеты писали: «Этот мраморный лоб, эта лебединая шея, этот тонкий стан, эта русская красота». И переводчица Лили возле автобуса переводила нам утром статью, а Витька Отиско и Вадик Бероев кричали: «Валька, покажи, где это у тебя всё»! Эльза Триоле пришла за кулисы: «Хочу взглянуть на русскую красоту!» Я помню, у неё на всю грудь была брошка, большая, как блюдце, с алмазами и бирюзой.

Я моталась по Парижу. Когда я пришла на приём по поводу окончания гастролей, я была уставшая (не было времени помыть голову), у меня болели ноги. В каком-то платьице и пиджачке, ненакрашенная, мрачная. Оказалось, дипломат из посольства захотел со мной познакомиться. Меня к нему подвели, он сказал какие-то дежурные слова, поблагодарил, а когда я отошла, бросил: «Господи, лучше бы я её не видел».

С нами на гастроли поехал Николай Иванович, прекрасный, милый, очень симпатичный человек, а потом мы узнали, что он был капитан КГБ. Когда меня один мужчина захотел пригласить на обед, я сказала: «Одну секунду, я спрошу у Николая Ивановича». Он ответил: «Боже мой, как это им ещё не надоело!» И больше он меня, конечно, не приглашал.

Мы были в Париже около шести дней: приезд, отъезд и три спектакля: «Дядюшкин сон», «Маскарад» и два раза «Дороги». Бортников там засверкал, о нём написали: «Тень Жерара Филиппа промелькнула над нашей сценой».

В «Маскараде» у меня был маленький кусочек, два слова на проходе. Я играла какую-то племянницу Но у меня была неземной красоты шляпка – наши актрисы научились вниманию к мелочам. Я помню, когда открылся занавес в «Маскараде», второй акт, все мы стояли в белых платьях, и Париж захлопал, потому что это было безумно красивое зрелище. Выглядели мы потрясающе: все в корсетах, в белых платьях, с причёсками. Сейчас такого нет даже на экране.

На третий день парижских гастролей я решилась и подошла к нашей переводчице Лили: «У меня здесь подруга, она живёт на рю Кассет, 7, её зовут Элиана, фамилия – Жаке».

Я знала, что я делаю. Понимала, что поиск моей подруги, а тем более встреча с ней могут дорого мне обойтись. Но находиться в Париже и не встретиться с девочкой, которая мне стоила всего того ужаса, который я пережила, – нет, это было

выше моих сил. И на следующий день Лили мне сказала: «Да, действительно, она там живёт, она вышла замуж, и теперь её зовут Элиана Дригач, и она сегодня будет у вас в гостинице в пять часов дня». У меня дрогнуло сердце.

Правда, Завадский и Марецкая повезли нас в какую-то студию к своей подруге, с которой они учились в училище. Мы выходили после спектакля, а в пяти шагах стояли эмигранты. Это ведь были одни из первых гастролей русских театров в Париже.

И мы стояли, и они стояли. Они сказали: «Ну, как вам здесь?» Я сказала: «Ну, Париж, это что-то! Восторг!» Они заулыбались: «Уж так и хорош?» Я говорю: «Да, очень». – «А могли бы мы вас пригласить на обед?» Я ответила: «Нет, вряд ли, у нас всё расписано», понимая, что Николай Иванович бдит. Он всё замечал: «Утром, в 8, вышел хлеба купить, а Бирман уже с незнакомой француженкой болтает».

В дверь номера постучали, и вошла Элиана с мужем, скуластым, светлоглазым блондином. Его звали Лёня Дригач, он был русским, из эмигрантов. И видно было, что свою французскую жену он совсем не любит. Элиана, конечно, это понимала. Она мне сразу сказала: «Он меня не любит!», а у них уже было двое детей – Тамарочка и Игорёк, который был совсем маленьким.

Когда мы увидели друг друга, обе зарыдали. Мы так рыдали! Её муж смотрел на нас равнодушными глазами. Он не понимал, почему мы обливаемся слезами.

Потом они всё же разошлись. Лёня бросил Элиану и женился на какой-то русской танцовщице по имени Одиль. А тогда они забрали меня из гостиницы, чтобы повозить по Парижу. И я поехала к ним на рю Кассет, познакомилась с её мамой, и там были уже какие-то подарки. И у меня голова пошла кругом. Я не верила, что я в Париже. И почему-то мне было совсем не страшно.

Мои отлучки прошли как-то незаметно. А перед отъездом Николай Иванович протянул мне разорванный конверт со словами: «Извини, я облегчил тебе этот труд». Моя дорогая Элиана передала мне в гостиницу письмо, где она писала, что в восторге от нашей встречи и что мы не должны вновь потерять друг друга. Она желала мне счастливого пути. Николай Иванович всё это прочитал, но отчёта от меня не потребовал…

За те долгие годы, что мы не виделись с Элианой, много воды утекло. Третий секретарь французского посольства, в семье которого она служила гувернанткой, сделал дипломатическую карьеру – стал послом. А сама Элиана стала преподавателем русского языка и литературы. Она работала в Париже, потом в Орлеане.

После нашей встречи Элиана стала мне писать, звонить. Она мне всё время говорила: «Давай я тебе пришлю приглашение!» Какое приглашение? Меня никто никогда не выпустит. В то время поехать в капиталистическую страну по приглашению было абсолютно нереально.

Зато Элиана стала каждый год приезжать со своими учениками в Россию. Они останавливались у меня. Когда я переехала в эту большую квартиру, Элиана восхищалась: «Мне очень твоя квартира нравится, потому что все считают, что русские – нищие. А я своим ученикам говорю: вот квартира моей подруги». По четырнадцать человек спали на полу вповалку. Кажется, это продолжалось лет шесть-семь. И были все в восторге. Я их всех кормила. Элиана привозила какие-то подарки. Я покупала её детям шапки-ушанки, платки. И опять у меня пошла связь с заграницей.

У неё был очень свободолюбивый дух и, конечно, художественная натура. Элиана переводила Лермонтова, любила Пушкина. Для неё спать здесь, на полу, или в гостинице не было никакой разницы. И у меня даже было лучше, потому что здесь были гости, еда, водка. А я опять ощущала глаза у себя на спине, что у меня связь с иностранкой.

Меня не таскали из-за неё. Всё-таки учительница с учениками у наших органов особого интереса не вызывала. А потом она сказала: «Ну, давай я тебе приглашение пришлю». Я согласилась, и она прислала мне приглашение в 1979 году. Посол Франции, который тогда был третьим секретарем, как-то поспособствовал, чтобы меня выпустили. Я, конечно, не знаю, какие аргументы он привёл, но думаю, он просто рассказал, что мы с Элианой дружили, когда были студентками. Это было приглашение на дипломатическом уровне. И мне дали разрешение на выезд. Курьер мне привёз паспорт с визой и билеты на самолёт. И я полетела в Париж.

Встречала меня не Элиана, а мама Лёни Дригача Лидия Владимировна. Она была высокой, стройной, красивой, светлоглазой, круглолицей блондинкой. С ней был её муж Всеволод Сергеевич Григорьев, сын того Сергея Григорьева, который был у Дягилева вторым режиссёром. Потом он написал книгу о великом Дягилеве.

Встретили они меня в аэропорту и сказали, что Элиана находится сейчас на юге, на вилле, и приедет немного позже. Рассказали, что они давно в разводе с Лёней. Поэтому я пока поживу у них, и они будут меня опекать. Это было потрясающе. Я пришла в русский дом, где говорили по-русски, ели русскую еду. Я была под крылом Лидии Владимировны и Всеволода

Сергеевича. Всеволод Сергеевич работал гидом. При первой встрече он мне сказал, что с русскими из России не общается. А Лидия Владимировна не работала вообще. Поженились они лет десять назад.

У Лидии Владимировны очень интересная судьба. Она была чистая немка, а может быть, наполовину, и всю её семью ещё перед войной выслали в Томскую область, куда-то глубоко в тайгу, в какой-то совхоз. И отец, и брат, и мать, и родители там похоронены.

А Лидию Владимировну не выслали, так как она была замужем за советским военным или сотрудником милиции, с которым они жили в Харькове. И она всю жизнь знала, что где-то в Сибири существует Томская область, что у неё там родня: все братья и сестры и мать с отцом. Когда началась война, её сыну Лёне было 8 лет. А Лидия Владимировна знала немецкий язык. Как только немцы вошли в Харьков, к ней явился довольно симпатичный офицер лет сорока. Лидии Владимировне было 28 лет. Этот офицер ей сказал, что ему известно, что она знает немецкий язык, а им нужны переводчики. Он предложил ей работать у него на железной дороге. Лидия Владимировна возмутилась: «Нет, никогда!»

Она ведь хорошо помнила, что есть Томская область, и она поедет туда за милую душу, вместе с Лёней. Немец сказал ей буквально следующее: «Я знаю, что через полтора дня к вам придёт гестапо и потребуют, чтобы вы работали у них. Вы ведь понимаете, что отказываться вам не стоит, потому что у вас будут большие неприятности. Но вы скажете, что уже дали согласие работать на железной дороге. И вас оставят в покое».

Всё именно так и произошло. Пришли гестаповцы, и Лидия Владимировна сказала, что уже работает на железной дороге. Она получала паёк. Мне кажется, что у неё случился роман с этим немцем, она была очень красивая. А уже с отцом Лёнькиным отношения совершенно испортились. Этот милиционер бил её, и она его больше не любила.

Немцы пробыли в Харькове два года. И когда они стали уходить, то этот офицер ей сказал: «Беги с нами, тебе жизни здесь не будет. Ты окажешься в Томской области со своим сыном». И он нашёл ей подводу, немцы уходили быстро, бросали всё, и она на подводе гнала на запад: из Харькова через Белоруссию в Польшу. Она как-то перешла линию фронта и добралась до Польши.

Там он ей опять помог. Снова где-то нашёл подводу и сказал: «Я тебя всё равно не могу взять с собой…» Она гнала лошадь, потом села на поезд, видимо, этот немец дал денег или сопроводительное письмо. Она приехала в Германию к его

знакомым, а война уже летела на Запад, советские войска находились на подступах. Родственники или знакомые немцы посоветовали Лидии Владимировне бежать дальше, во Францию. Они говорили, что Германия будет под русскими и американскими войсками, поэтому надо перебираться во Францию.

Во Франции она опять пряталась, потому что был приказ Сталина всех беженцев вернуть в Россию. Её прятали, и она, по-моему, сдала Лёню в какой-то пансион при ордене иезуитов, где он жил и учился, пока ей приходилось как-то скрываться. Она была нищая как бобик. В общем, это был полный ужас.

Позже она поступила швеёй в дом Диора. И все эти злоключения, конечно, отразились на отношениях матери и сына. Они отдалились друг от друга. Лёня вырос, повзрослел, закончил этот пансион ордена иезуитов, но дружбы между матерью и сыном не было. Он бросил ей в лицо: «Зачем ты отобрала меня у моего отца и увезла из России?» И никогда он ей не мог этого простить.

Лидия Владимировна не очень любила Элиану, она рассказала, что моя подруга не такая уж хорошая женщина, а французы – вообще ужас: жёсткие, коварные, прижимистые. Лидия Владимировна меня принимала, у неё единственная была ко мне корысть. Её братья и сестры после войны оказались в Молдавии, и она спрашивала: «Валя, вы возьмёте что-нибудь для моего брата, племянника, сестры?..» Естественно, Валя сказала, что возьмёт… Я посчитала, сколько смогу взять, она дала мне адрес, и я отправила посылку.

Когда я приехала, Элиана уже была не та маленькая, чёрненькая, с ласковыми глазами девочка. Люди меняются, и не всегда в лучшую сторону.

Как сказать? Денег не было. Это был 1979 год. Валюты тогда меняли очень мало. Весь Париж, все музеи – всё навалилось на меня. Конечно, я немного была пришибленная, уже не стопроцентно уверенная в себе девушка, как в Москве. Бывает такое ощущение в жизни, когда человек чувствует себя не в своей тарелке, вроде как на одной ноге стоит, его и тюкнуть хочется. Не избежала этого искушения и моя подруга.

Она таскала меня по всем музеям, дворцам, предместьям, она меня «начиняла», показывала. Она в меня просто впихивала французскую культуру, я всё это послушно глотала. И как только мой взгляд падал на витрины магазинов, она напряжённым голосом спрашивала: «Куда ты смотришь?» Магазины были не главное. Но я чувствовала себя забитой в этом Париже. Мне не

давали покоя мысли, где я буду спать, что я буду есть. И Элиана так немножко подтюкивала меня, невольно демонстрируя своё превосходство.

Меня предупреждала Лидия Владимировна о том, что французы чувствуют своё превосходство перед людьми, которые приехали во Францию, перед эмигрантами. Я не была эмигранткой, но Элиана ко мне относилась всё-таки как к русской, которая пожаловала из-за «железного занавеса», нищая, ничего не знающая. Она мне показывала Париж, но я ощущала её раздражение. Она была очень нервная, временами просто невыносимая. Двое детей, ученики, я… В общем, это была для неё обуза.

И когда я вернулась домой, мама меня спросила: «Ну как?» Я сказала: «Мама, не очень…» – «А я это знала».

Лидия Владимировна ещё жива, ей 93 года, но, к сожалению, она потеряла разум. Элианочка, к сожалению, умерла в 1993 году.

Ростислав Янович Плятт говорил, что в каждом спектакле есть такие минуты, когда ты сам себе не принадлежишь, когда что-то с тобой происходит. Я бы сказала, что бывают мгновения, когда ты взлетаешь. Некоторые говорят, что сцена – это наркотик. Нет, это не наркотик. Некоторые говорят, что ты получаешь власть над зрителем. Нет, это не власть. Это именно взлёт. Ты взлетаешь и становишься выше.

А есть артисты, которые не знают, что это такое.

У меня был такой случай. Мама лежала в больнице, ей сделали сложную полостную операцию. Надо было выхаживать маму. А я её после операции в первую ночь оставила в палате и ушла домой. И вдруг звонок. Мама лежала вместе с другой женщиной, которая тоже была после операции, и её муж ночевал на полу возле стенки. Он мне позвонил и сказал: «А что же вы оставили маму?» Я ответила: «А что?» – «Да как что? Вы должны быть здесь. Или вы на меня её бросили?» И тогда я поселилась в палате, вместе с этим мужчиной. Я лежала возле стенки, а рядом мужчина – четыре человека спали в одной комнате.

Когда практически безвылазно находишься в больничных стенах, поневоле начинаешь узнавать, что происходит в других палатах, слышишь какие-то истории. Я помню жуткую сцену, когда одну женщину разрезали и зашили. Ей, конечно, ничего не сказали. А родственникам сообщили, что она безнадёжна. Родные пришли к ней с перевёрнутыми лицами. Я им сказала: «Вы что с такими лицами пришли? Вы должны сделать вид, что всё хорошо. Она догадается. Зачем вам это надо?» И тогда они перестроились

и убрали этот траурный вид.

Я жила в этой больнице, ездила домой, что-то варила, привозила кастрюльки. И вдруг мне кто-то звонит и говорит: «Вот тут, Валя, за 40-м магазином есть клуб МВД. Давайте свой номер, и мы всё организуем».

У меня был один монолог. Я вышла на сцену, начала читать, и через две-три минуты у меня будто белый лист бумаги. Я не могла вспомнить ни одного слова. И ушла со сцены под стук своих каблуков. Села. Ко мне подошли: «Что случилось?» Я ответила, что у меня мама в больнице. А сама подумала: я не смогла взлететь. Я была внизу, целиком и полностью в этой больнице и с этими больными.

Каждый день в шесть утра я мыла палату, потому что мужчина, муж маминой соседки, не мог. Санитарки не было, и я драила эту комнату, эти пятнадцать квадратных метров. Это было летом 1986 года. Я уже была народной артисткой, звание получила в 1985 году. В больнице это не играло никакой роли. И у меня не было денег на сиделку. Мама умерла в 1991 году от сердца. Я думаю – от тромба.

Иностранцы меня буквально преследовали. Во времена СССР такие контакты, мягко говоря, не приветствовались и имели печальные последствия.

У меня всё началось в студенческие годы с Элианы, но продолжение «связей с иностранцами» последовало. И эти знакомства сильно осложняли мою жизнь.

Когда после первого тура я прошла в ГИТИС, а другие ещё сдавали экзамены и в институтских стенах царила та особая абитуриентская суматоха, которая бывает только во время вступительных испытаний, я заметила довольно худенькую девочку с простым лицом и большими серыми глазами. Почему-то я её спросила: «А вы прошли или нет?» Она ответила: «Да, я поступила». – «На наш курс?» – «Да». И было ей так жутко, неуютно и одиноко, что она мне призналась: «Я не радовалась, что прошла на актёрский. Только ты одна подошла и проявила ко мне какой-то интерес».

Она оказалась эстонкой, её звали Мале Микхельс, и она училась с нами на актёрском. Она была как актриса не очень, и с нами она проучилась не долго, перевелась на театроведческое отделение.

Мы с ней дружили. Потом она меня пригласила зимой в Таллинн, и я ездила к ней. Именно от неё я впервые услышала слова «русские оккупанты». Ещё она сказала, что, если будет какая-то демонстрация или революция, то она пойдёт против

русских. Но я всё равно с ней дружила.

Потом она вышла замуж за финна. Я была свидетелем её романа. Она прибегала в восторге, что у неё любовь. Он был профессор Хельсинкского университета по русскому языку, Вейко Леппеле. Я это помню. Она была рада и счастлива. Она уехала в Финляндию где-то в 1957–1958 годах.

Мале писала мне редко, но всё-таки писала. Сообщала, что она одного ребёнка родила, потом второго, потом третьего, а потом четвёртого. А у её мужа Вейко Леппеле были аспиранты, которые вместе с Мале стали приезжать в Москву. И опять у меня пошла дружба с иностранцами.

Мы часто беседовали с Вейко. Когда началась перестройка, у меня появилась надежда, что всё у нас изменится к лучшему. Когда я сказала это Вейко, он помотал головой и изрёк: «Никогда!» Я вскричала: «Почему?!» Финн пожал плечами и развёл руками. Он не произнёс ни слова, но я прочитал его мысли: вроде как всё у нас безнадёжно.

Судьба у Мале была трагичная. Я слышала от неё горькие признания, что дети, когда выросли, ей часто говорили: «А ты, эстонка, молчи! Ты этого не понимаешь!» Меня такие вещи поражали. Последний раз мы виделись с Мале в 1991-м году, когда я снималась в Финляндии, а в 1992 она умерла. Ей было где-то пятьдесят пять.

Иностранцы буквально падали мне на голову, как перезрелые яблоки. В те годы мало кто общался с иностранцами, а мне фантастически «везло». Однажды знакомая аспирантка притащилась ко мне с каким-то мужиком: «Знакомься, это профессор из Гамбурга». И я, уже задыхаясь от иностранцев, сказала: «Ну ты даёшь, мне ещё из Гамбурга не хватало мужика. Точно за ним следят!»

У меня был и есть друг такой, назовём его – друг духовный. Женщин он никогда не любил, у него другая ориентация. У него была нежная дружба с югославом, потрясающе красивым мужчиной. Их связывали какие-то умопомрачительные отношения. Я смотрела и удивлялась, что так бывает.

И из-за этих всех иностранцев я стала невыездная. Наш театр ехал в Италию в туристическую поездку, а меня не выпустили.

Когда я расходилась с мужем, я попала в больницу. У меня была третья степень щитовидки, я не могла ходить, и у меня тряслись руки. Это всё было ужасно. На мне висела кооперативная квартира, я работала день и ночь.

За съёмки обычно платили 15–16 рублей, редко когда съёмочный день стоил 25 рублей. Деньги получались маленькие,

а работы было много. Пахала без остановки, а ночами плакала в подушку. Всё закончилось больницей. У меня просто сдали нервы.

В больнице я провела ровно 40 дней. Я не могла смотреть на еду и ничего не ела. И мне сказали: ты не смотри в тарелку, ты ешь, а сама гляди в окно. Приходилось специально садиться ко всем спиной, чтобы никто не видел, как я впихиваю в себя больничную еду. Я даже старалась прийти попозже, так меня всё это тяготило.

Этот столик, накрытый старой клетчатой клеёнкой, больничное окно в разводах белой масляной краски, запах лекарств – мне казалось, что жизнь кончена и ничего хорошего в ней уже никогда не будет. А я глотала по десять таблеток за один раз. Потом уже, кажется, в Киеве меня смотрел один экстрасенс. Он мне говорил: «Ой, какой-то поток таблеток из вас выходит. Что это такое?»

Наше отделение было общее: там лечились мужчины и женщины. И вдруг сквозь стену отчуждения, которую я воздвигла между собой и миром, сквозь пелену болезни прорвался чей-то голос: «Валь, веселее надо есть! Что же ты так ешь?» Этот незнакомый голос за спиной не отпускал. И когда я наконец всё съела и обернулась, увидела симпатичного, очень обаятельного мужчину, блондина с голубыми глазами, хорошей улыбкой и белоснежными зубами. Он с первого взгляда расположил меня к себе. И сразу предложил: «Значит, так: мы идём гулять, нечего киснуть!» Я отвечала: «Как гулять?» Меня ноги не держали, я была рухнувшая, как срубленное под корень дерево. А мужчина настаивал: «Нет-нет, мы идём гулять. Всё, одевайся!» Он меня выводил на прогулку, и я шла как под гипнозом. Это было потрясающе.

Назову его Н. Я даже не знала точно, какой у него был диагноз: то ли язва желудка, то ли тоже нервная болезнь. Его участие в моей жизни, поддержка, которую он мне дал в тот момент, не имели ничего общего с отношениями мужчины и женщины. Это было человеческое сочувствие, которое я приняла. Он меня выхаживал, вытаскивал из омута.

Как-то он позвал меня играть в карты. И мы стали с ним резаться. Я возбудилась донельзя. Мне врач сказала: «Никаких карт, Валя! Мы вас тушим, а вы загораетесь!» Потом играли в какие-то другие игры – морской бой и ещё что-то. И этот молодой парень всё время оказывался рядом.

У него был очень хороший юмор. Я вдруг начала смеяться и однажды почувствовала, что оживаю. Не зря говорят: смех лечит!

Н. постоянно шутил. Я помню, как к нему пришла Евгения Адольфовна, заведующая отделением, с какими-то лечебными

рекомендациями. Он с самым заинтересованным видом спросил: «А как делается этот протёртый суп?» И эта Евгения Адольфовна начала на полном серьёзе объяснять, как правильно варить суп.

Всё это продолжалось: и прогулки, и игры, и задушевные разговоры, и я чувствовала себя всё лучше и лучше. Уж не знаю, как это произошло, какая «химия» сработала, но случилось так, что я влюбилась. И эта влюблённость оказалась взаимной…

Мы с Н. выписались из больницы и уже на следующий день договорились встретиться, потому что привыкли друг к другу и не видеться долго было невыносимо. Он мне очень нравился, всё у него выходило как-то просто, ловко и ясно.

Я не знала, кем он работает и где. Он не говорил, а я не спрашивала. Я была счастлива, что у меня роман, что я любима, что беды, казавшиеся неразрешимыми, остались позади. Моя жизнь после перенесённых испытаний снова заиграла всеми красками.

Но однажды знакомая его друга задала мне вопрос: «Валя, а ты вообще знаешь, где он работает? Так вот, я тебе открою секрет: он сотрудник госбезопасности». Сказать, что я была потрясена, – это не сказать ничего. Я – человек прямой, не люблю ходить вокруг да около, поэтому решила откровенно поговорить с Н. В конце концов я имела право знать правду.

Когда я спросила его о работе, он не стал отнекиваться: «Да, я капитан Комитета госбезопасности». И ещё признался, что лёг в обыкновенную больницу, хотя имел все возможности лечиться в ведомственной клинике, потому что ему надоело, что все подсматривают и подслушивают. Для меня его признание было как гром среди ясного неба. Я понимала, что судьба опять меня тряханула.

На самом деле он попал в КГБ достаточно случайно. Он с детства мечтал о профессии моряка. Поехал в Ригу поступать в мореходку, но не поступил. Он всю жизнь любил море, потом попал в армию, а оттуда его командировали в госбезопасность.

Герой моего больничного романа был очень сильным, закалённым человеком. Надёжным и по-настоящему добрым. И честно говоря, он ненавидел своё ведомство. Он, конечно, мало распространялся о работе, но мысль о том, что я оказалась с товарищем из этой конторы, сидела во мне как гвоздь.

Он был женат, у него рос сын. Я понимала, что если только в театре узнают, что у меня роман с сотрудником госбезопасности, все будут считать, что я тоже имею отношение к этому ведомству. Всё время я уходила от стукачества, а тут влипла как бобик в эту историю.

Н. радовался моей любой работе, он ходил на все мои спектакли, смотрел все фильмы с моим участием. Он с упоением воспринимал мир, с которым я его познакомила. Для него это была другая планета.

Н. безумно нравились артисты. Он обожал театральную атмосферу. Восхищался и Виктюком, и Володей Гордеевым, и Людмилой Шапошниковой. Он любил посидеть в актёрской компании – хлебом не корми! И все говорили: «Валь, этот молодой человек очень симпатичный». А я думала: если бы вы только знали, что он из КГБ!

Естественно, он просил никогда никому не рассказывать, где он работает. Но шила в мешке не утаишь: информация как-то просочилась. И мало-помалу все стали узнавать, что товарищ работает в этом ведомстве. Это был ужас. И одна девочка, Галя Дашевская, не могла отказать себе в удовольствии намекнуть, что я или дружу, или работаю. Меня это безумно обидело, и я ответила: «Ты знаешь, Галя, я слишком талантлива, чтобы быть стукачом».

Неожиданная любовь накрыла меня с головой. Я ничего с собой поделать не могла. Это было всё равно что плыть против течения. А меня несло, как стремниной. И все видели, что возле меня появился мужчина.

Он был человеком бесстрашным и бесшабашным, способным совершить непредсказуемый поступок. Когда беременная Нина Дробышева на гастролях театра в Новосибирске попала в ДТП и вылетела в лобовое стекло машины, у неё произошли преждевременные роды. И встал вопрос: кто будет играть Эдит Пиаф на гастролях? Решили, что должна играть Талызина. А времени почти не оставалось, и мы сидели с Володей Гордеевым на полу в номере и учили текст: надо было срочно спасать театр.

Я вышла и играла первый спектакль в Новосибирске, и мой любимый прилетел на премьеру. Он сидел в зрительном зале. А потом через день улетал. Денег у него не было. Утетал и прилетал, видимо, по своему служебному удостоверению. Этот вихрь сшибал меня с ног.

Женщины любят мужчин, способных на импульсивные красивые поступки. А мой поклонник вообще творил фантастические вещи. Однажды встречал меня со съёмки в Одессе. У меня с собой были цветы, яблоки, баклажаны. Я вся была в одесских вкусностях, и он меня ждал на служебной машине с шофёром во Внуково.

Он сказал: «Валя, мы сейчас рванём в Москву, но тут такая непростая ситуация. С минуты на минуту поедет генеральный секретарь, и по правилам всё движение перекроют: не должно

быть ни одной машины ни спереди, ни сзади. Но мы с тобой всё равно едем, потому что я отпросился с работы на три часа». Я говорю: «И что? В нас стрелять могут?» Он отвечает: «Однозначно. Потому что там охрана – „девятка”, а тут едет навстречу какой-то автомобиль».

Я помню, это была бордовая «Волга», новенькая. И когда мы ехали, он сказал: «Валя, если можно, спрячься, чтобы тебя не было видно». И я сползла с сиденья вниз и лежала, покрытая баклажанами и цветами. Вот таким смелым человеком он был. И щедрым.

К этому времени я была уже невыездная. Помню, когда меня зарубили на одну турпоездку, я рыдала и говорила: за что? Спрашивала и у Н., но он сидел, закусив губы, и молчал как партизан. Что он мог мне сказать?

Но я требовала, чтобы он мне объяснил причину: «Скажи мне, что я сделала такое?» Он очень переживал. А потом, ничего мне не говоря, решил этот вопрос.

Я думаю, что в КГБ мало нашлось бы сотрудников, готовых ради любимой женщины пойти на должностное преступление. Увы, был только один способ мне помочь.

Однажды Н. сказал: «Всё, ты теперь будешь выездная, тебя выпустят за границу, потому что из твоего личного дела я вырвал два листа. А заложили тебя твои друзья».

Я узнала, что наш директор театра Лосев написал в моей характеристике: «Талызину не стоит посылать за границу». Фамилии друзей, которые меня опорочили, Н. так и не назвал. Конечно, меня терзало желание выяснить, кто из моих знакомых оказался способен на предательство. Я так и не узнала. Возможно, так было правильнее: иногда лучше не знать правду.

Мои отношения с Лосевым складывались хуже некуда. Пока я лежала в больнице и медленно возвращалась к жизни, на мои роли уже назначили вторых исполнителей. За сорок дней моего отсутствия по уважительной причине в театре многое изменилось. Директор театра Лосев меня не любил. И возможность ввести на мои роли других исполнителей его, похоже, только радовала.

Сказать, что Лосев не любил только меня, было бы неправдой. Он многих не любил. Бортникова, Терехову, Дробышеву. К Дробышевой он, правда, помягчел, когда она блистательно сыграла Эдит Пиаф. Старые актёры – Зубов, Цейц, Консовский, которые по полвека отдали театру, вообще в грош не ставились.

После смерти Юрия Завадского Лосев стал художественным руководителем и продержался на этом посту восемь лет. Главного

режиссёра не было, Лосев пугал труппу, что придёт «варяг» и всех разгонит. На самом деле он в театре был бог и царь: и худрук, и главный режиссёр, и директор. Все ниточки находились в его руках. Он приглашал артистов, выбирал пьесы, назначал зарплаты.

Естественно, всё, что было создано при Завадском, планомерно разрушалось и вытравлялось. Приглашались режиссёры не самого высокого полёта. Творческая атмосфера, в которой только и может дышать актёр, размывалась и исчезала. При этом создавалось впечатление всеобщего благоденствия.

На сцене родного театра я появлялась не часто. И в этом не было моей вины. Когда я была членом партии – не стыжусь ни этого, ни пионерско-комсомольской юности, – вставала на партсобраниях и спрашивала: «Когда у нас будет творческий главный режиссёр?», чем вызвала неприязнь Лосева.

В своей жизни я прошла все ступеньки общественных организаций. Была пионеркой, комсомолкой и членом КПСС. Так что в театр я пришла идеологически подкованной девушкой. И в один прекрасный день меня позвал в свой кабинет заслуженный артист и секретарь партийной организации Георгий Александрович Слабиняк. В своё время его пригласили в Театр имени Моссовета из какого-то южного города, и у него сохранился прекрасный мягкий выговор.

Георгий Александрович ласковый был до невозможности, он всем говорил «детка». Он любил делиться своим рецептом: надо взять кусок хлеба, намазать его медком и съесть со стаканом горячего молока. Это правда очень вкусно…

Он был милый, домашний человек. Вот Георгий Александрович подошёл ко мне и сказал: «Детка моя, мы решили обновить нашу партийную организацию. Хотим рекомендовать пять мальчиков, но нам ещё нужна и девочка. Мы решили рекомендовать тебя». Мне тогда было 28 лет. Потом мне Славка Богачёв, который уже работал в театре, сказал: «Ну, ты так громко вступила в партию…»

На самом деле я произнесла гениальную фразу. Это я потом поняла, что она была гениальная в своей непосредственности. Я просто сказала: «Ну, если вы так считаете…» И всё. Я не могла отказаться, потому что я не была так подкована, как москвичи. Девочка из глубокой провинции наивно верила, что партия – наш рулевой. Отказаться и сказать: «Вы знаете, я не подхожу, я не готова, и так далее» – мне в тот момент и в голову не приходило.

Это потом уже, когда ко мне приходил кагэбэшник, а он заявлялся раза два, и говорил: «Валентина Илларионовна, я хочу вас просить, ну если вы что-нибудь заметите, всякие бывают

люди, всякое говорят…» – я уже всё понимала. Прямо и честно глядя ему в глаза, не сильно наигрывая, отвечала: «Конечно, если я что-нибудь когда-нибудь замечу… Нет слов… обязательно». А сама про себя думала: неужели он не видит, что я не то что смеюсь над ним, а говорю как-то так, с иронией. А потом со мной судьба сыграла злую шутку. Но я никогда ничего не подписывала и не была стукачом, слава Богу.

Так вот, мои критические выступления на партсобраниях в театре активно не нравились нашему директору. Мало того что он делал всё, чтобы меня обходили при распределении ролей, так ещё и молодым режиссёрам, которые приходили в театр, говорит: «Не берите Талызину, у неё плохой характер».

Мой трудный характер! Не знаю, откуда это вообще пошло. Трудный характер был у Раневской. Трудный характер, говорят, у Нины Руслановой, и у Светы Крючковой якобы очень трудный…

Предположим, со мной не просто. О чём это говорит? Наверное, о том, что как только человек мало-мальски имеет какую-то индивидуальность, всегда скажут, что у него трудный характер.

Я никогда из себя не корчила звезду-небожительницу, как некоторые из моих коллег. Недавно со мной снималась молодая актриса, которая выдавала такое, что все скукоживались. Я себе такого никогда не позволяла. А тут… Она звезда! А когда смотришь её на экране, то можно переключить программу через полторы минуты, потому что это лицо не привлекает, не притягивает.

Вот я вроде такая энергичная, такая командирша, слава Богу, я не была никогда ни в каком начальстве. Мне никогда не хотелось стать режиссёром или, к примеру, педагогом. Что-то насаждать, кому-то объяснять – я это делаю только по очень суровой необходимости. Ещё пять раз извинюсь.

Лосева давно уже нет, а у нас принято об ушедших вспоминать хорошо или никак. Но тогда все в театре понимали, что я была права. Однако никто не решился встать и назвать вещи своими именами. Одна Талызина. Уже в тот момент, когда я это говорила, я понимала, что опять навлеку на себя неприятности.

Когда Павел Иосифович Хомский решил ставить «Мамашу Кураж» со мной в главной роли, он объявил Лосеву: «Да, я считаю, что Талызина сыграет эту роль». Наш директор, естественно, был против, категорически. Вообще моя судьба в театре складывалась с позиции этой неприязни. И роль мамаши Кураж мне не досталась бы никогда, если бы не трагическое стечение обстоятельств.

Прямо в театре с Лосевым случился удар, его положили на

носилки, но он ещё разговаривал, и Павел Иосифович к нему подошёл и сказал: «Так я даю распределение „Мамаши Кураж”?» Он махнул рукой. Так я получила главную роль.

Спектакль «Мамаша Кураж». Я и мои дети

До этого у меня в театре вообще был период простоя. Но честное слово, я никогда не думала о том, чтобы хлопнуть дверью и уйти в другой театр. Слишком много связывало меня с

прославленной сценой Театра имени Моссовета.

С «Мамашей Кураж» получилось неожиданно. Когда Павел Иосифович спросил, в какой пьесе я бы хотела сыграть, я ответила, что мне нравится «Лес» Островского. Но Хомский сказал, что Островский не его автор. И предложил «Мамашу Кураж».

Тогда шла война в Чечне. Груз 200, взрывы – это было очень близко. А Павел Иосифович помнил войну: он в шестнадцать лет пошёл на фронт добровольцем. Рыл окопы, а потом над головой шли танки. Он чудом остался жив.

«Мамашу Кураж» мы играли три года. Партер был полный, но на ярусах оставались свободные места. Самое главное – никто не уходил. А потом ко мне на улице подошла незнакомая женщина. Как она меня узнала? Я стояла в какой-то очереди, в очках, в обычной одежде. Эта женщина мне сказала, что видела разных исполнительниц мамаши Кураж: и Глизер, и Елену Вайгель, и Касаткину, но я ей понравилась больше всех. Такое признание дорогого стоит…

Когда Н. мне рассказал, что в моей «невыездной» истории сыграли роль коллеги по театру, я испытала шок. Конечно, я радовалась, что наконец содран этот ярлык неблагонадёжности, мешавший мне в жизни. Но ещё больше меня потряс его поступок. Я понимала, как он рисковал. Он признался: «Если ты когда-нибудь кому-нибудь это расскажешь, мой сын останется без куска хлеба, потому что я ничего другого делать не умею. Я – военный, и у меня больше нет никакой профессии».

Когда приехала моя француженка Элиана и сказала, что может прислать мне приглашение, я всё равно не была уверена, что меня выпустят. Спросила у Н., смогу ли воспользоваться приглашением. Он сказал: «Пусть присылает! Тебе разрешат, не волнуйся! Ты пойдёшь с приглашением в ОВИР. Там есть такая Любовь Ивановна. Она сделает всё возможное».

Он красиво за мной ухаживал, но я понимала, что в таком формате наша история не может тянуться годами. И однажды решилась: «А что у нас этот роман? Всерьёз что-то будет или нет? Ты женишься на мне?» Последовали слова: «Как только скажешь». Я ответила: «Ну, вот я говорю». Он промолчал. Продолжение не последовало. А я всё как-то верила, что у нас сложится.

Он познакомился с моей мамой, она его невзлюбила, не приняла. Она каким-то особым чувством сразу уловила, что он на мне никогда не женится. Что и произошло. А мне нужно было несколько лет, чтобы это понять. Я думаю, что он так и не смог принять решение по двум причинам. Конечно, сыграла свою роль

моя профессия. Жена – артистка! У них, в органах, это не приветствовалось. Кроме того, у него была семья. Развод, конечно, не лучшим образом отразился бы на его карьере, а Н. всё-таки не хотел лишних проблем.

Наша история продолжалась долго, около шести лет. Почему-то я надеялась, что каким-то чудесным образом у нас всё получится. Наверное, я боялась резать по живому и ждала, пока мое чувство само отомрёт. Но до меня, наконец, дошло, что впереди – бесконечный тоннель, и во мне созрело решение поставить точку на этих затянувшихся и таких мучительных отношениях.

Чувство, которое занимало всё моё сердце, таяло, словно снег на мартовском солнце. И настал момент, когда я поняла, что любовь прошла.

И в этот момент, так бывает, я встретила другого мужчину. Бог подарил мне последний страстный роман, который согрел мою жизнь, озарил её глубоким чувством.

Будучи честным человеком, не умея и не желая ничего скрывать, я сказала Н.: «Между нами всё кончено». Объяснение было трудным. Мы расставались, но прошлое нельзя зачеркнуть.

Не прошло и двух дней после нашего объяснения, как н. мне выдал полную информацию о моём новом друге. Он знал о нём всё: имя, фамилию, адрес, возраст, профессию…

В поступке Н. высветилась вся его кагэбэшная сущность. И это стало последней каплей, эпилогом нашей любви.

Н. звонит мне до сих пор. Не часто, но всё-таки напоминает о себе. Жизнь его сложилась не слишком счастливо, и я точно знаю, что наш роман был самой яркой страницей его жизни.

Когда с приглашением от Элианы я пошла в ОВИР, Любовь Ивановна сказала: «Да, это возможно». И меня пустили в Париж. Это было, конечно, странно, потому что я ничего не подписывала. Шёл 1980 год.

Если говорить честно и откровенно, в долгожданный день моего отъезда в Париж были похороны моей подруги Лены Судаковой. Это ассистентка режиссёра, которая дружила с Ниной Скуйбиной. Она мне говорила: «Валя, я твоя пятая нога!» Но пятой ногой она особо не стала, хотя относилась ко мне превосходно.

Нина – худенькая, чёрненькая, невероятно чувственная и деликатная. Она одиннадцать лет была любовью Эльдара Александровича. Этот долгоиграющий роман с Рязановым, которого она ласково называла Эликом, её вымотал.

По сути, Нина была его правой рукой: читала сценарии,

редактировала. Её фамилии даже не было в титрах, но Нину это волновало меньше всего. Она ждала предложения руки и сердца, но Рязанов медлил. Любое терпение имеет известные пределы, вот и Нина решилась на прямой разговор со своим Эликом. Это совпало со съёмками «Иронии судьбы». Получилось, что актёры стали невольными свидетелями выяснения отношений Нины и Эльдара Александровича.

После премьеры они поженились, но – вот судьба – счастье Нины оказалось недолгим. Она медленно уходила от рака лёгких. Та же болезнь съедала Жаклин Кеннеди. После её смерти Нина сказала: «Вот ушла Жаклин, через неделю уйду и я». Нина была в расцвете лет.

А с Леной Судаковой мы познакомились на «Зигзаге удачи», Ленка только что за год или за два пришла на «Мосфильм», окончив пединститут. У неё был гениальный нюх на артистов. Она настолько была цельная, глубокая и серьёзная и так любила кино! Она поразительно тонко чувствовала настоящее и ненастоящее и всегда попадала в «десятку».

На «Зигзаге» Лена в меня просто влюбилась, и мы стали подругами. И когда меня в очередной раз не утверждали на роль, она всегда утешала: «Валя, запомни, ты хорошая артистка, у тебя ещё всё впереди, только ты не суетись и не торопись – у тебя всё будет. Ну не прошла ты в этот фильм – ну и что бы он тебе дал? Режиссёр – говно, роль – говно, сценарий – говно. И что?» Она всегда находила какие-то нужные слова.

Должна сказать, все четыре гениальных фильма Данелия делал с ней. Жена Данелии Люба знала об их романе и говорила: «Ленка хорошая, она хоть ему еду даст в середине дня. Вот Токарева – другой коленкор, а Ленка – человек. И чай принесёт, и позаботится». Но она не только чай давала, она помогала ему в создании фильмов. Когда она умерла, он женился на другой. Но больше таких гениальных фильмов у него не было.

Может быть, с моей стороны это слишком категоричный или необъективный вывод. Возможно, я много на себя беру. Не знаю. Но я точно знаю, что Лена умерла от любви. Она очень хотела иметь детей, забеременела от Данелии, по глупости сделала операцию. И поняв, что он уходит от неё, умерла.

Я к ней пришла в Склиф, ей сделали операцию по поводу аневризмы головной артерии, я целовала её руку и говорила: «Лена, милая, всё позади. Ты сделала операцию, теперь всё хорошо. Ты поправишься».

Ирина Скобцева однажды сказала: «А Брижит Бардо – это как наша Ленка!» У неё была точёная фигурка. Лицо кругленькое, голубые глазки и красивые пепельные волосы.

Это она ходила следом за Рязановым, когда он искал на озвучание «Иронии судьбы», и говорила: «Попробуйте Талызину!» Но он пробовал только «красный звук» – так называли «артель» артистов, которые профессионально озвучивали иностранные фильмы. Озвучивали хорошо, но уже на автомате, не проживая роль. Так вот она просила и настаивала, чтобы я озвучивала Барбару Брыльску. Рязанов от неё отмахивался, как от мухи: «Что ты говоришь? Талызина играет эпизод, что, она будет сама с собою, что ли, разговаривать?» А Ленка не отступала: «Эльдар Александрович, попробуйте Валю». Он подошёл ко мне и сказал: «Я не против, чтобы ты озвучивала, но только если твой голос подойдёт к голосу Аллы Пугачёвой – тогда пожалуйста, озвучивай».

К слову, Эльдар Александрович просил Пугачёву спеть не так, как на эстраде, а тихо, задушевно, на полутонах. Её манера не должна была выбиваться на фоне Серёжи Никитина и Андрея Мягкова.

Я часто с ним вела внутренние диалоги. Вот и в этот раз сказала про себя: «А я и не прошу, чтобы ты дал мне озвучивать роль Нади, мне это и не надо вообще. Что это ты мне вроде как даришь озвучание?» Но произнести вслух я это не могла, боже упаси. Когда дали один крупный план Барбары Брыльски, я встала, сделала одно «кольцо», и все увидели, что Ленка была права.

Я живу в центре и часто хожу в театр пешком. Если медленно идти, то 20 минут, если быстро – 15. И всё равно умудряюсь опаздывать, и тогда приходится брать такси. Раньше это стоило рубль, теперь – сто.

И бывает, еду в машине, зимой, в мохнатой шапке, с меховым воротником, в очках – лица не разглядеть, узнать невозможно, я сама себя не узнаю в этом виде. Объясняю таксисту дорогу: «Сейчас налево, потом ещё немножко и опять налево». Таксист интересуется: «Вы актриса?» – «Да, откуда вы узнали?» – «По голосу». Меня поражает, что мужик узнает по голосу.

Мы с Риммой Павловной Кречетовой земляки: я – из Омска, она – из Иркутска. Она училась на театроведческом факультете в ГИТИСе, сейчас она доктор искусствоведения. Она дружила с Ольгой Радищевой, прапраправнучкой Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». И однажды я пригласила Римму на какой-то прогон в театр. Уже не помню ни спектакля, ни роли, которую я играла. А Римма пригласила на этот прогон Олю. Она была худенькая, симпатичная, в очках, в общем, одна духовность.

После прогона Римма спросила Олю: «Как тебе Талызина?» И Оля ответила: «Голос…»

Впервые мне сказали, что у меня – голос. На меня это не произвело никакого впечатления, я забыла в ту же секунду.

Даже когда я играла всяких комсомолок, мой голос поразительно действовал на публику Идёт действие спектакля, сидят зрители в тёмной яме, а для меня выход на сцену – как в клетку с тиграми, я влетала, или входила, и начинала произносить свой текст. И зал затихал. Я думала, как хорошо я играю, что они затихли. И никаких других мыслей у меня не было.

И однажды, лет пятнадцать назад, театр Вахтангова устраивал какой-то юбилей. Маргарита Эскина раздала всем по куплету. Выбрали романс из «Живого трупа». Всем, кто участвовал в этом капустнике, она выдала тексты на листочках. Табаков сразу у меня украл два! Я так удивилась, но ладно, говорю, бери. И мне остались первые две строчки. Люда Максакова когда-то играла в «Живом трупе», она спела весь романс. Потом все вступили. Я была где-то после середины, ближе к концу. Стоял гул в зрительном зале. И вдруг, когда я спела эти две строчки, зал затих. Я не могла понять – почему? Не так уж хорошо я пою, не так точно. И вообще считаю, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Но зал затих. И потом Вера Максимова мне сказала: «А ты не поняла? Это твоё звучание голоса…» И вот тогда я поняла, что у меня есть голос.

Мне один очень известный музыкант – он трубач, живёт в Германии, – сказал: «Я людей воспринимаю через звук. Неважно, что человек говорит, какие у него поступки. По голосу я сразу понимаю, какой он человек».

Была у меня одна очень далёкая знакомая, какая-то редакторша с телевидения, мы с ней пару раз встречались по работе. Она иногда мне звонила и просила: «Поговори со мной…» И я с ней говорила. Она опять: «Поговори еще…»

Правда, когда я слушаю себя, думаю: да, что-то есть. Но когда я говорю, то не замечаю, что у меня есть голос. Я никогда не курила – не хотелось. И никогда не ем мороженое. Потому что, когда я увлекалась мороженым, могла в одну секунду заболеть ангиной. Потом она проходила тяжело, и я поняла, что лучше отказаться от ледяного десерта и больше не болеть ангиной.

Однажды в нашем театре ко мне подскочила из репертуарной конторы девочка и сказала: «Валентина Илларионовна, вас просят сегодня сыграть во „Вдовьем пароходе” роль…» А там пять главных женских ролей, и актриса, которая играла в спектакле, потеряла голос. Я сказала: «Нет. Голос надо беречь, и тогда не

будет он садиться. Играть я и выходить с тетрадкой за два часа до начала спектакля, не зная ни одного слова роли, я не буду! Пусть кто-нибудь другой, более смелый, попробует!»

До сих пор поражаюсь, что мой голос подошёл для картины «Ирония судьбы». Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить её достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска.

Потом произошёл настоящий бум. Ленка Судакова мне рассказывала, как проходил первый просмотр «Иронии судьбы» на «Мосфильме». Был полный зал. Я не присутствовала. Меня, конечно, не пригласили. Открылись двери, и вывалились люди, распаренные, красные. Первым шёл Губенко. Он мерил мосфильмовский коридор широкими шагами, а за ним бежала Жанна Болотова и кричала: «Коля, это озвучание, это озвучание!..»

Когда успех фильма стал сумасшедшим, я взяла Лену за грудки и спросила: «Почему ты так настаивала, чтобы именно я озвучивала? Почему ты долбила, ходила?» И она сказала: «Валя, по сути, это твоя роль, но не твоя судьба, что ты её не сыграла. Ты не виновата, что Рязанов взял польскую артистку».

Вот эта ленинградская учительница, которая всю жизнь была любовницей, и у неё ничего не происходило в личной жизни, и она надеялась выйти замуж за Ипполита – Яковлева. И свалилась на неё эта ночь с Мягковым. Обрушилась, как дар свыше. Мне, кстати, Мягков очень нравился…

Потом мне многие стали говорить, что я могла бы сыграть эту роль. А Эльдар Александрович меня даже не пробовал. Гурченко пробовал, Фрейндлих, Голубкину. Восемь проб сделал Свете Немоляевой. Но однажды он сказал, что в «Иронии судьбы» Талызина сыграла половину роли. Ну да, с точки зрения режиссёра и зрителя, это действительно полроли, голос за кадром. А для меня это целая роль.

«Иронию» я не смотрю, я её только слушаю. Мой любимой кусок – когда летит самолёт и мы с Мягковым читаем стихи. Озвучивать этот кусок было непросто. Да и присутствие Рязанова на меня действовало. Когда он находился рядом, я не могла так сразу, с ходу взять конец строки, ударение, паузы. Эльдар Александрович орал, что я не держу ритм, ещё чего-то не делаю. Я на него, конечно, разозлилась. Думала: «Я тебе сейчас всё сделаю: и ритм, и паузы! Прочту твой вариант, а потом свой!» А я знала, что всегда делается два-три дубля. И потом, когда я уже дома сидела и смотрела картину, с большим интересом ждала, какой он взял дубль: мой или свой… Он взял мой вариант.

Помню, на каком-то чемпионате по фигурному катанию одна

пара начала свой номер с нашего стиха.

На картине был потрясающий второй режиссёр Игорь Петров. Он очень много работал на дубляже, и он вёл меня, подсказывал. Сначала мы озвучивали польскую артистку, а потом ко мне подошёл звукооператор Юра Рабинович и сказал: «Мать, ну а себя-то немножко огрубить сможешь? Пониже говори». Себя, я, конечно, огрубила, взяла октавой ниже.

В стихах очень слышатся и голос, и интонация. Кто-то сказал, что голос – это звук души. Немирович-Данченко говорил: «Что самое главное у артиста? Это на 75 процентов голос, на 10 процентов внешность, а потом всё остальное». Иван Берсенев говорил: «Если в вашем театре есть артистка красивая женщина, то пусть она будет на 15 процентов талантлива, считайте, что вам крупно повезло». Но это уже моей дочери адресовано.

«Долгая дорога в дюнах» – второй фильм, где я озвучивала главную героиню. В нашем театре работает потрясающая артистка Ирина Карташова. Она блестяще дублировала всех иностранных звёзд, даже Джульетту Мазину. Раньше я не понимала, как Ирине это удаётся. Меня пригласил режиссёр Алоиз Бренч озвучивать Лилиту Озолиня. И я согласилась. Туда я уже пришла мастером. И опять, как в «Иронии судьбы», вкладывала душу.

Я ведь помнила, как к нам в сибирский зерносовхоз привозили ссыльных латышей. Одна старушка, спускаясь с грузовика, оступилась и упала на пыльную дорогу, потому что никто не захотел ей помочь.

У моей подруги жили латыши. Мне было любопытно, как они там. Подруга сердилась, что я надоедала ей с расспросами, и коротко отвечала, что постояльцы соберутся в углу и сидят и молчат.

Конечно, они жались друг к дружке, оторванные от дома, окружённые чужими людьми, далеко не всегда относившимися к ним по-доброму. Помню, что несколько латышей, не выдержав такой жизни, покончили с собой.

Эти воспоминания ожили в моём сердце, когда я встала к пульту. И я попросила режиссёра: «Вы только мне не мешайте, я сделаю женщину, которую полюбит весь Советский Союз!»

Потом была картина «ТАСС уполномочен заявить». Когда я видела, что от моего голоса на одной и той же картинке меняется выражение лица героини, то есть восприятие зрителя идёт от звучания за кадром, я подумала: «Валь, ну что ты себя так подкладываешь под этих актрис?» Но у Лилиты Озолиня по крайней мере хватило мозгов сказать мне открыто, честно: «Знаете, в некоторых местах вы озвучили так, как я не сыграла». И

всегда, когда я приезжала в Ригу, она приходила на спектакль и дарила мне букетик фиалок.

Героини, которым я подарила свой голос, получили Государственные премии. И я спросила себя: «Валя, зачем?..»

В тот день, когда хоронили Лену Судакову, я во второй раз должна была отправиться в Париж. Приехала на вокзал прямо с похорон моей подруги и села в вагон – а я всегда покупала себе СВ. Зашёл проводник, и я сказала: «Еду с похорон, у вас есть рюмка коньяку?» Он налил мне большую рюмку, и я сидела и пила в память Лены. Одна. Проводник даже какую-то закуску принёс.

Я ехала на один месяц, мне дали ровно 200 долларов. Жалкие крохи! Конечно, вся надежда была на Лидию Владимировну, чтобы она меня кормила и дала койку.

Элиана находилась в Орлеане, ехать туда мне не хотелось. Получалось, что приглашение мне присылала подруга, а жила я у Лидии Владимировны в Париже. Почему она меня принимала? У неё была своя корысть: она со мной отправляла два чемодана вещей для своих родственников. И уже в Москве я шла на почту и отсылала все это добро посылками. Каждый раз я просила Лидию Владимировну составить полный список вещей. И вот я приезжала в свою квартиру, садилась на пол и разбирала чемодан.

У меня лежали коробки, которые я должна была отослать в Молдавию, в Киев и ещё куда-то. И однажды, сверяя вещи со списком, я заметила, что не хватает пояса от пиджака. Мы с Лидией Владимировной не перезванивались. Звонить было не принято: и дорого, и всё прослушивалось. Но тут я позвонила: «Лидия Владимировна, а где пояс от пиджака?» – «Валя, он в кармане этого пиджака». Пояс я нашла в кармане. И потом Лидия Владимировна говорила, что честнее Вали не было.

Однажды она спросила: «Валя, а вам не трудно будет вымыть мне ванну?» – «Конечно, не трудно». – «Вот вам тряпка, вот вам стремянка». И я всё драила. Там были гладкие стены, которые легко протирались и чистились. Лидия Владимировна благодарила: «Ну, прекрасно, чисто». Я ей помогала, мне было очень приятно, что я чем-то могу отплатить за её доброту.

Она была староста в маленькой русской православной церкви, которая находилась неподалёку. Как-то мы пришли в этот храм на праздник. Чудесный священник вёл службу, хор пел сказочно, и всё было так здорово! Я вышла на крыльцо и стала плакать. Я подумала: что же они с нами сделали, эти товарищи коммунисты, что лишили нас этого. Всё, что накапливалось в

народе веками, было разрушено. Сегодня я редко бываю в храме. Можно сослаться на отсутствие времени, но мне кажется, я, как и множество наших людей, просто не приучена к этому.

Я ездила во Францию, по-моему, каждый год. Десять лет подряд. Этот месяц в Париже значил для меня очень много. Правда, Любови Ивановне из ОВИРа я привозила какие-то подарки, но не такие большие, не такие дорогие. Я всегда говорила: «Любовь Ивановна, на будущий год как?» Она отвечала: «Валентина Илларионовна, вы подавайте, а там посмотрим». И я никогда не была уверена, дадут ли мне разрешение. Более того, эта неуверенность в какой-то мере и помешала мне выучить французский язык. Я всякий раз думала, что больше не поеду. Но меня выпускали, и это был подарок судьбы.

Конечно, я была дурой: знание языка не должно зависеть от обстоятельств. Но достаточно часто бывая в Париже, я волей-неволей начинала запоминать какие-то слова, выражения. Я понимала, что говорят, но общаться не могла. Зато на пальцах я объяснялась гениально.

У меня завязывались новые знакомства, зарождались дружеские отношения. Я познакомилась с семьёй Целковых, с Оскаром Рабиным – это всё было интересно. Я возила вещи не только от Лидии Владимировны, просили многие. Меня спрашивали: «Валя, вы можете взять дублёнку?» – «Но, вообще, я уже везу 3 дублёнки разным людям…» Молчание. Я соглашалась: «Приносите». Люди пришли на вокзал, я сказала: «Бросайте дублёнку на вторую полку, и пусть она там лежит!» Они бросили, там она так и ехала.

У меня был такой случай. Когда одна знакомая (её дочь Леночка вышла замуж за француза) меня попросила: «Валя, вы можете взять брошку с бриллиантами?» – я отпрянула: «Вы что?! Если меня поймают с этой брошкой, мне будут полные кранты!» – «А книги можете взять?» – «Могу». Я везла книги и сумку с зимними сапогами. И когда в купе ко мне подошёл таможенник и, ткнув в вещи, спросил: «А что здесь?» – я спокойно ответила: «Это – книги, а здесь – сапоги».

Я всё привезла, и Леночка приехала, чтобы забрать и передать что-то для мамы. Только задним числом они мне признались: «Валь, а мы в сапоги эту брошку положили!» К счастью, я этого не знала, поэтому вела себя с таможенником спокойно и интонация не могла меня подвести.

Интересно, что эти проводники менялись в пути. Вот мы ехали по России – это был один человек, а когда пересекали границу – уже другой человек! Клянусь, именно так всё и происходило. Какое-то фантастическое перевоплощение! На

нашей территории раздавались команды: «Закрыть окно!», во всём сквозило пренебрежительное отношение к людям. Но как только мы оказывались за границей, проводник говорил: «Итак, кому чаёк? Кому водочки? Кому пиво?» Это был совсем другой человек. Когда я это поняла, хохотала до слёз.

«Трясли» меня только один раз. Вообще ко мне таможенники очень хорошо относились, кроме одного. Тот был просто жуткий.

Ехать в Париж с пустыми руками было неприлично. Но что я могла привезти в подарок? Хохлома интересовала только любителей русского, например Женевьеву. А Лидия Владимировна мне сказала: «Валя, ничего не надо, но если вам удастся привезти чёрной икры, я буду рада». Я покупала эту икру в хорошем гастрономе и перекладывала её в баночку из-под майонеза – это не считалось криминалом, потому что икру в таком виде продать уже нельзя, а можно только подарить или съесть.

Когда я впервые привезла икру, Лидия Владимировна сказала: «Да, да, да, хорошо; это я беру в подарок, а за это я заплачу». У нас стал такой небольшой, как говорится, бизнес. Потом подруга Лидии Владимировны предложила: «Вот если на будущий год вы привезёте, то я тоже куплю». И однажды я уже притащила четыре баночки и очень волновалась. Одну-две – ещё как-то, а вот когда четыре, то это уже много. Я везла килограмм, расфасованный по майонезным баночкам. И когда мы переезжали границу, то пришёл какой-то таможенник, который по моему виду сразу понял, что я волнуюсь. И он сказал: «Выйдите из купе».

Я вышла. И он начал смотреть мои вещи. Я рванулась в купе, и он рявкнул: «Стоять!!!» Это было гениально. И я осталась у окна, в коридоре. А он пересмотрел все вещи и увидел четыре баночки. Я сказала: «Вот это и есть мой криминал». Таможенник с какой-то брезгливостью отбросил коробку с икрой. И стал все мои вещи просто руками прощупывать. Я села рядом и спросила: «А что вы ищете?» – «Где ваше золото?» – «Какое? Откуда?» А они на ухо очень натренированы: моментально улавливают, когда человек говорит правду, а когда лжёт. И таможенник ещё пошуровал в моих вещах, но у меня действительно ничего не было, но говна я наелась – не то слово.

В Париже я отдала свою «контрабанду» Лидии Владимировне.

Потом я перестала уже у неё жить, потому что мне какие-то знакомые давали шестиметровую комнату. Это была маленькая квадратная комнатка, по-моему, даже без холодильника. И мне сказали: «Если ты от этой комнаты потеряешь ключ, то ты больше никогда сюда не попадёшь, и вообще никто не войдёт…» Я до сих пор помню, что ключ у меня висел на шее.

В этой комнате я часами читала запрещённые в СССР книги. В Париже я буквально набрасывалась на запрещённую у нас литературу, читала запоем и говорила себе: «Валя, что ты читаешь? Там, за окном, Париж, иди на улицу, а не сиди в четырёх стенах!» Но оторваться было невозможно.

Париж. Лидия Владимировна. Я говорила, что очень ее люблю

Вообще я скажу, что я близорукая, между нами говоря, потому что я читала запоем в родной Сибири всё, что попадёт в руку: Чехова, Пушкина. И потеряла глаза, зрение стало минус четыре. А вообще все близорукие люди мир видят иначе, у них граница совсем близко, дальше они не видят, поэтому неизвестно, что там происходит, если смотреть на мир без очков. А без них всё видимое находится где-то на расстоянии вытянутой руки. Я близорука, поэтому вижу близко, и это накладывает на характер какой-то свой отпечаток. Ну как сказать? Ты находишься всё время в своей скорлупе, на расстоянии вытянутой руки, и туда уже, в мир, не выходишь. Поэтому я не могу назвать себя смелой, как раз смелости мне всегда не хватало.

Но было во мне, наверное, что-то такое (не знаю, как назвать), что позволяло мне жить в большом Париже одной, с этими ключами, которые висели на шее.

Чтобы не тратить на еду деньги, которых всегда было в обрез,

а так хотелось купить что-либо себе или Ксюше в Париже, я в Москве делала заготовки на каждый день. Ну, это же не придумать!

Я раскладывала по пакетикам свой сухой паёк: печенье, яблоки, какие-нибудь консервы, сухую колбасу. И у меня на все дни были заготовлены эти брикеты. Я никогда не тратила деньги на еду, всё везла из Москвы. Во Францию я отправлялась с определённой сумкой, в которую всё можно было уложить.

В Париже на вокзале меня встречала Лидия Владимировна, которая тогда ещё была женщина в силе, и все сумки эти мы пёрли вдвоем. Брали какую-то коляску и допирали до такси, за такси расплачивалась Лидия Владимировна. И она видела, что я, конечно, берегу каждый франк и не знаю, на что его лучше потратить: и это хотелось, и то хотелось. У нас ведь ничего не было.

И у меня всегда первая парижская неделя проходила в состоянии глубокой депрессии. Лидии Владимировне я этого не показывала. Я не знаю, почему я впадала в депрессию, но ничего не могла с собой поделать.

Вспоминается очень характерный эпизод, когда однажды я впервые попала в шикарный магазин «Галери Лафайет». Я ходила по всем этажам, и это изобилие, эти горы вещей, этот выбор на любые деньги просто убивал наповал. Всё начинало плыть перед глазами: платья, юбки, блузки, сумки. Я вышла и почувствовала, что меня тошнит. Судорогой сводило желудок. Жуткое ощущение!

Я ничего не съела, меня тошнило от нервного потрясения, и я думала: «Господи, да почему же это такое случилось? У нас та же голова, те же две руки, те же две ноги, и почти что такое же туловище, и почему мы там вот так, а здесь вот так?» Меня мутило, а живот был приклеен, по-моему, к позвоночнику. Я села на какой-то гранитный подоконник и ушла в свои грустные мысли.

Я не вдавалась в какие-то особые рассуждения. Почему-то всё происходило именно физически, на самом-самом простейшем уровне.

В самом начале моей парижской одиссеи я познакомилась с Олегом Целковым. На какой-то тусовке, как сейчас говорят, ко мне вдруг подошла одна женщина: «Ой, что-то мне ваше лицо знакомо. Вы откуда? Вы, конечно, из Москвы». Я говорю: «Да, из Москвы». – «Мне безумно ваше лицо знакомо. Как ваша фамилия?» Я сказала. «Ну да, конечно!» Это была первая жена Лёни Хейфица Антонина Пипчук. К тому времени в Париж переехала и её мама, Лидия Фёдоровна.

Олег курил, и я помню, у них были советские сигареты – чуть ли не полкомнаты они занимали, тоже чтобы не тратить деньги. И ещё запомнилось, как Лена Пипчук с Лидией Фёдоровной лепили пельмени, пекли пирожки и продавали на лотках. Олег в ту пору ещё не был таким знаменитым. Он рисовал картины, но они почти не продавались. И эти пельмени с пирожками кормили всю семью и всех тех русских, которые случайно приезжали. У Целкова, по-моему, перебывали все.

Еще тогда, когда они не были ни богатые, ни знаменитые, Олег мне сказал: «Валя, уезжать надо оттуда». Я сказала: «А что я буду здесь делать?» – «Ну, первое – это мыть полы». – «И где?» – «Или в частных домах, или в квартирах у состоятельных людей. Потом всё устроится, потом всё будет хорошо, но вначале надо, конечно, мыть полы». И про себя я подумала: «Нет, лучше я буду хорошей артисткой в России, чем мыть полы во Франции». Ни знаменитой, ни легендой, ни великой – лучше я буду хорошей артисткой, чем поломойкой, пусть даже в Париже.

А вот эта депрессуха в первую неделю была всегда. Я никак не могла привыкнуть после года жизни в СССР к капиталистическому изобилию, к этой какой-то лёгкой, необременительной жизни, к этим законам.

Семья Целкова жила в центре Парижа, и однажды я ехала от них, и в подземке было практически пусто. В вагоне я оказалась одна. Я заболевала и выглядела как кулёма: в кожаном пальто и в платке, по-бабски повязанном, потому что мне было то жарко, то холодно, хотя на улице стоял июль или август. Вдруг зашли афроамериканцы, человек семнадцать. Время полдвенадцатого ночи. И у меня одна мысль: доехать бы. Но всё было нормально. Доехала и потом бежала к моему дому минут десять от метро. Я летела.

Звонить я, конечно, никогда не могла, потому что жила в режиме жесточайшей экономии.

В те времена в Париже редко можно было услышать русский язык. Мало кого выпускали за железный занавес. Однажды случилась такая история. Я любила заходить в русскую библиотеку возле метро «Одеон». Там я брала почитать запрещённые у нас книги. И какой-то человек вдруг увязался за мной, горбатый, не очень приятный тип. Возможно, он выехал по израильской визе. Он меня не узнал, но увидел, что я русская, и со мной заговорил. Спросил: «А вы тут как вообще?» Я сказала: «Ну, я вот по частному приглашению». – «Как?! И вас выпустили?» – «Да, выпустили». – «А, ну это вы работаете в КГБ», – протянул он и пошёл. И я ему вслед бросила: «У вас все работают в КГБ».

Мне очень хотелось, чтобы Ксюша тоже посмотрела Париж. И мы с ней поехали, когда границы уже приоткрылись. Но жили мы не у Лидии Владимировны. Она старела, принимать гостей становилось тяжело, и условия – девятиметровая комната – не позволяли. И когда я как-то, так мягонько, заикнулась, что хотела бы приехать с Ксюшей, Лидия Владимировна промолчала. И я поняла, что она нас не примет.

И один знакомый парень, режиссёр, «дал» свою приятельницу, её звали Женевьева. Женевьева была полная, очень симпатичная, по-моему, она работала учительницей и преподавала русский язык. Она жила недалеко от Лидии Владимировны и дала свои ключи. Мы жили с Ксюшей в её доме. Опять у нас было всё на двоих распределено, весь сухой паёк, привезённый из Москвы.

Ксюше было шестнадцать лет. А с нами ехала ещё какая-то девушка, Лена, по-моему, она работала в «Современнике», вышла замуж за француза, потом разошлась. Мы с ней подружились и договорились встретиться в Париже. Так что мы были втроём. И мы с Леной смотрели на Ксюшу, как две ведьмочки, и ждали, когда у неё произойдёт эта депрессуха? Потому что у Лены было то же самое, и мы знали, что это обязательно случится. И не ошиблись.

Ксюшка в шестнадцать лет была хороша до невозможности. И мы ждали, когда у неё начнётся постижение Парижа через депрессию. Но время шло, а моя дочь пребывала в нормальном настроении. Это уже было другое поколение, которое всё воспринимало очень легко, просто, без напряга, и мы никак не могли увидеть у Ксюши начало этого мучительного состояния. Она даже особо ничему не удивлялась, реагировала спокойно: «Ну и что? Ну и что? Ну, Париж! Подумаешь!»

Наконец мы её привели в парфюмерный магазин. И когда она увидела горы всей этой благоухающей роскоши, тут и её стукнуло, и она простонала: «А почему?..» Мы с Леной дождались! Это было начало Ксюшиной депрессухи. И у неё эта депрессуха развивалась, она стала мрачной, не улыбалась, ходила и смотрела уже по-другому. Они уже с Леной или с какой-то другой девочкой побывали на Эйфелевой башне, все интересные места в Париже обошли, но Ксюшин барометр показывал «пасмурно».

Мы поехали к Целковым. Я что-то им везла из Москвы. Когда мы встречались с тёщей Олега Лидией Фёдоровной, это было потрясающе. Она говорила: «Валентина, садись, ты из Сибири, давай выпьем рюмочку, давай выпьем вторую. А теперь это попробуй и то обязательно – здесь всё такое вкусное!» И я всегда с ней отрывалась от своих брикетов с сухим пайком по полной

программе! Я не помню, пели мы с ней или не пели, но какие-то анекдоты рассказывали. И было нам вдвоём безумно хорошо.

Когда мы приехали к ним с Ксюшей, в неё уже вцепилась парижская депрессия. И тогда я сама себе сказала: «Валя, ну ты всё-таки комедийная артистка, ну и давай, работай над своей дочкой, давай, добейся, чтобы она смеялась. Чего она у тебя так расклеилась?»

Лидия Фёдоровна, как обычно, поставила бутылочку, графинчик, опять закуски, и Валя себе напозволялась до потери пульса. Не до положения риз, но алкоголь прилично бурлил в крови. И когда мы уехали от неё и уже шли к себе, то я решила ещё немножко подыграть. И Ксюша начала хохотать. Она хохотала и кричала: «Тебя сейчас заберёт полиция! Ну что ты делаешь?» А я смеялась над всеми витринами, над всеми французами, которые проходили, то есть я была вдупель пьяная, но ещё и немножко подыгрывала. В общем, я вызвала у неё улыбку и раскачала эту депрессуху. Мы пришли, и Ксюша спросила: «Мама, можно я пойду погуляю?» – «Конечно, погуляй».

Она пошла гулять и вскоре заблудилась, потому что в Париже нужно очень точно знать, откуда ты вышел и куда ты идёшь. Ксюша встретила двух старичков: мужчину и женщину. К счастью, она хорошо знала английский язык. Она ведь закончила английскую спецшколу, кроме того, у неё была очень опытная и дорогая учительница, которая работала в Дипломатическом корпусе.

Париж. 2009 год

Дочь обратилась к пожилой паре по-английски: «Как мне пройти на такую-то улицу?» Они тоже стали отвечать ей по-английски. А потом спросили: «Простите, а вы какой национальности?» И она сказала: «Я русская». – «Как русская?!» – закричали они. Это были граф Воронцов-Дашков и графиня Воронцова-Дашкова, которые жили тоже недалеко, и на следующий день я пришла к ним в гости. Графиню звали Ася Дмитриевна, а сценический псевдоним – Барбара Никиш. До встречи с графом она была замужем за сыном композитора Никиша, и она была певица.

Мы с ней общались, когда я приезжала в Париж. И я помню, как постоянно твердила: «Нет, нет, нет, мне надо…» Я всё время торопилась в Париже, время пролетало так быстро… Ася Дмитриевна меня спрашивала: «А куда вы сейчас, Валя?» «Нет, нет, нет, – повторяла я, – мне надо ещё кое-что купить себе, я там присмотрела себе платье, такое дешёвое, но симпатичное. Оно будет у меня концертное».

И вдруг она мне сказала удивительную вещь: «Так, мы сейчас поедем вместе, я посмотрю, что вы выбрали, и не надо этой советской торопливости, этой суетливости». Мы спокойно сели в автобус, приехали в магазин, и Ася Дмитриевна похвалила мой выбор: «Да, конечно, это платье очень хорошее». Оно было действительно дешёвое, она за него заплатила и подарила мне. Потом я ей тоже сделала ответный подарок.

Когда мы с Ксюшей собирались в Париж, моя мама сказала: «Если возможно будет, купите мне аппарат для измерения давления». Она просила Ксюшу, а дочь отрезала: «Бабушка, это очень дорого!» Так мы этот аппарат и не купили. Конечно, надо было всё бросить и купить аппарат. Теперь уже я это понимаю, а тогда…

Это мучительное воспоминание.

Как раз после жуткого обыска в купе, когда таможенник перерыл все мои вещи в поисках контрабанды, я отправилась в свою парижскую шестиметровую комнатушку. Разобрала чемодан и пошла гулять в жутком депрессивном состоянии. Машинально заглянула в какой-то третьесортный магазин, где мне ничего не было нужно. Вышел хозяин-армянин. А я всё-таки была хорошенькая, беленькая, худенькая. Он спросил: «Что вы хотите?» И так как я начала уже говорить немного по-французски, произнесла: «jupe» (юбку).

Он стал показывать юбки – ничего интересного, я поняла, что я никогда тут покупать не буду. И вдруг он меня спрашивает:

«marie{l}e?», показывая на палец, где должно быть кольцо (замужем?). Меня как хлыстом ударили, и я завопила: «Да нет у меня золота!!! Нет, я сказала!!!» Он стушевался: «Хорошо, хорошо, хорошо». И я вылетела из этого магазина и начала хохотать. А потом уже, когда я прокрутила этот диалог, поняла, что он меня спрашивал, замужем ли я.

Я жила на рю Кассетт, когда приехала одна знакомая учительница и сообщила: «Тарковский остался. Я его видела. Ты знаешь, он никогда не улыбается. Хороший, большой художник, но никогда не улыбается». Я ответила: «Ну ты бы пожила там, тоже бы не улыбалась». И вдруг меня пронзила мысль, что Тарковский никогда здесь не приживётся. Не знаю, откуда, почему, но какое-то нехорошее предчувствие было.

Так вот, однажды мы ехали с Лидией Владимировной в метро. Я до сих пор не знаю, из-за чего произошёл конфликт с какими-то двумя африканцами, но Лидия Владимировна сказала: «Валя, пойдёмте из этого вагона». И она, выходя, что-то обидное им бросила, по-моему, даже прозвучало слово «нигер». И они сразу выскочили из вагона. Лидия Владимировна стала с ними драться. Они порвали ей платье, а я орала что есть мочи, но не вступила в драку. У меня очки, и я понимала, что стекла будут у меня в глазах. Я кричала, тут вмешались другие люди, стали разнимать, растаскивать. В общем, была драка в метро, и когда мы уже пошли, Лидия Владимировна, растрёпанная, в разодранном платье, сказала мне с укором: «Почему, Валя, вы не дрались?» Я ответила: «Потому что у меня паспорт советский, и если бы, не дай бог, я попала бы в полицию, то это было бы неизвестно что». А паспорт я носила с собой всё время.

Ещё был один случай, когда меня в одном магазине встретила какая-то девушка, которая меня узнала. Она сказала, что работает в советском посольстве, и предложила организовать там встречу. Я согласилась: «Давайте». Мы созванивались. И я пришла. Чтобы попасть на территорию посольства, надо было предъявить паспорт. Его проверяли так тщательно, как будто стремились обнаружить подделку.

Что меня сразило, так это скрежет замков. Одна дверь, вторая, третья, туда, сюда. Наконец я попала на сцену и выпалила: «Ну, у вас здесь как в тюрьме». Язык мой – враг мой. Девочку потом сняли с работы: «Кого она привела…» Клянусь, это всё было так. Потом она мне рассказала: «А меня уволили».

…Не люблю встреч с прошлым. Как правило, они приносят одни разочарования. Ты знал человека в его лучшую пору, и в твоей памяти он всё ещё прежний. А на самом деле его уже не

узнать. Мы приехали ко мне домой. Я спросила: «Юра, а ты сегодня обедал?» «Да, я купил полбатона белого хлеба!» Больше можно было ни о чём не спрашивать: всё стало ясно. Я сразу принялась хлопотать на кухне, чтобы приготовить ужин, а Юре предложила принять ванну.

В моей квартире ванная от кухни буквально через стенку. Пока я занималась едой, оттуда доносились странные звуки, словно вода лилась через край. Мне стало немного не по себе. Постучалась – тишина. Тогда я потянула дверную ручку, дверь была не заперта, и увидела такую картину: Юра хлопает по воде руками, как гигантская рыба, глаза пустые, стеклянные, а вода хлещет на пол. Я молча выключила кран.

Мы сели ужинать. Юра держался как ни в чём не бывало. Он не испытывал никакой неловкости, что я застала его в такой прострации, а у меня кусок не лез в горло. Зато мой гость наворачивал за обе щёки, мёл всё подряд, как комбайн. По-моему, он даже не пережёвывал еду, а глотал целыми кусками. Я отвела взгляд, смотреть было неловко. Бог мой! Как болезнь переломала этого человека. Тот красавчик, герой-любовник остался в «Ивановом катере». Напротив меня сидел тяжело больной человек.

Я постелила ему в гостиной, а сама лежала без сна, с открытыми глазами. Мерещились всякие ужасы, рисовались жуткие картины. И самая страшная мысль: а вдруг он решит покончить с собой? Одиннадцатый этаж, открытые балконы. А в соседней комнате мирно спят мама и Ксюша. Что будет с ними, если Юра что-то натворит?

Я корила себя за необдуманный шаг и не знала, как поступить. Мне было глубоко жаль Юру, но оставить его у себя на несколько дней?! Нет, ни за что. Ещё одну такую ночь я не выдержу. Утром, не глядя ему в глаза, я решительно сказала: «Юра, тебе придётся поискать ночлег в другом месте». – «Эх ты!» – Он тяжело вздохнул и стал собираться. Я дала ему денег, и мы попрощались. В тот момент я не сомневалась, что это наша последняя встреча. Он вернулся в Умань. Очередной приступ уложил его в психиатрическую больницу.

А фильм «Иванов катер» лёг на полку и пролежал ровно пятнадцать лет, с 1972 по 1987 год. В перестройку про картину вспомнили, и актёров вызвали на озвучивание.

Мы снова встретились с Юрой Орловым как старые друзья. Влюблённость растаяла словно дым, но всё равно было радостно повидаться. Пошли с ним в ресторан ВТО отметить встречу. Выпили шампанского. Тогда я не знала, что Юре нельзя было пить категорически. Находились люди, которые ему наливали, а

он не мог отказаться.

Через четыре дня, когда закончилось озвучивание, Юре вручили авиабилет в Киев, и директор картины лично проводил его в аэропорт. А через несколько дней позвонила Юрина мама и сообщила, что он пропал.

Мы были в шоке: как же так? Куда он мог деться из аэропорта? Заболел? Попал в историю? Мысли были самые страшные. Мы обзвонили все отделения милиции и даже морги, но Юры нигде не было. Он нашёлся в психиатрической больнице имени Кащенко.

Я звонила его несчастной маме и упрекала её в том, что она нас не предупредила, что Юре совсем нельзя пить. Сегодня мне стыдно за мои резкие, какие-то безжалостные слова. Эта несчастная женщина рассказала мне об ужасной болезни Юры, диких припадках. На этой почве он лишился всего: потерял работу в театре, его оставила жена. И только мама продолжала нести свой крест. Они жили вдвоём в Умани, на Украине.

Начало девяностых – тяжёлое время. Кинематограф умирал, театры пустовали. Актёры выживали кто как мог. Хватались за любую работу, уходили из профессии, уезжали из страны. Когда меня пригласили в Киев озвучивать Ларису Гузееву в каком-то фильме, я согласилась, хотя зарекалась дарить ещё кому-то свой голос. Одновременно я снималась в картине «Яма».

Естественно, я подумала о Юре Орлове. Умань от Киева не так уж далеко, и мои мысли невольно возвращались к старому другу. Если нам, московским артистам, так трудно сводить концы с концами, то каково ему, больному, без работы? Мне удалось договориться, что Юру снимут в массовке: какие-никакие, а деньги и ощущение, что его не забыли, что он нужен. Для актёра очень важно знать, что он востребован.

Я созвонилась с его мамой, и она обещала прислать его к нам. Юра приехал, отснялся в массовке. На автобус по моей просьбе (я не могла его проводить – озвучивала Гузееву) его посадил администратор. Потом он мне признался: «Валя, прости, но твой Орлов немного странный!» – «Все мы со странностями!» – отшутилась я.

Юра писал мне письма. Просил приехать, навестить. Но я не представляла, как это осуществить. Выйти на полустанке, где-то искать ночлег?

Но зимой 2004 года мы опять встретились. Мне позвонила режиссёр Татьяна Скабард и предложила снять обо мне документальный фильм в проекте «Острова». Когда я спросила, почему она выбрала меня для своего проекта, Таня сказала: «Вы настоящая!»

Я поставила два условия: во-первых, мы поедем на Украину, к Юре, а во-вторых, ни слова про «Иронию судьбы» и «Каникулы в Простоквашино». Таня согласилась.

И мы со съёмочной группой поехали к Юре Орлову в психиатрическую больницу. Я привезла фрукты и два баула тёплых вещей, которые собрали мои друзья-художники, чтобы Юра мог гулять на улице. Он обрадовался, выбрал что-то себе, остальное раздал. Человек пятнадцать оделись с головы до пят.

Потом я ему послала телевизор, отправила кассету с фильмом. Больше у нас не было встреч. Он мне звонил, сейчас у него рецидивов нет. Он очень хочет быть в Москве. Но его могут отпустить только с медсестрой, а это уже из области фантастики. И по-моему, Юра уже понял, что он оттуда не выйдет. Теперь он стал мрачнее, тяжелее.

Режиссёр и автор сценария Татьяна Скабард делала фильм очень деликатно, но когда она стала монтировать, задала мне вопрос: «Валя, камеры нет, но я хочу вас спросить. Я должна монтировать, мне надо расставить какие-то акценты. Вы любили Юру?» И я сказала: «Конечно, я была в него безумно влюблена, конечно, я страдала».

Самое интересное, что однажды на Киевской студии ко мне подошёл какой-то небольшого роста чёрный, но такой русский человек и сказал: «Я знаю, вы с моим сыном снимались!» – «А вы кто?» Он был странный, даже можно сказать немножко сумасшедший. «Юрий Петрович Орлов – мой сын». А мама Юры, высокая, очень красивая женщина, была врачом. Она родила двух сыновей и разошлась со своим странным мужем.

…Жизнь моя поразительно богата на встречи. Вроде бы ставишь точку, а получается многоточие. Так произошло с папой. Я ведь не думала его когда-нибудь увидеть. И Юра Орлов дал о себе знать. И мой художник Лёня Непомнящий тоже возник из своего мексиканского небытия.

Мой бывший муж прожил со своей второй женой в Мексике не меньше десяти лет. По слухам, там он входил в сотню лучших художников страны. В 2007 году Лёня вернулся в Москву. Ксюше он до 18 лет платил алименты, а потом перестал помогать, хотя в Мексике был востребован и, наверное, имел возможности поддержать дочь. Тем не менее с Ксюшей у них великолепные отношения. Она к нему кинулась, а он сказал: «Ты талантливее, чем твоя мать!» Ну и хорошо, я ничего не имею против.

Но в Москве у Лёни не складывалось. Однажды пришла Ксюша и сказала: «Мама, ты не можешь ему сделать каких-нибудь клиентов, чтобы рисовать портреты?» Я ответила: «Ну, кого я буду

спрашивать? Я это не умею и не хочу. Хочешь – сама делай!» – «Может, он твой портрет напишет?» И тут я вспомнила его слова, которые меня тогда так обидели: «Ты живёшь со мной ради денег», и уточнила: «Так что, денег нет совсем у него?» Ксюша ответила: «Да, очень плохо». В общем, у Лёни были отрезаны все пути и отрублены все знакомства.

Ксюша предложила, чтобы Лёня написал мой портрет по фотографии. За две тысячи долларов. Деньги у меня как раз были: я только что закончила работу в одной картине. Поэтому я согласилась помочь бывшему мужу в трудный момент.

Тут же он мне звонит – не прошло и десяти минут – и говорит: «Валь, хорошо бы получить аванс!» Я ответила: «Ну, приезжай за авансом».

Лёня забежал. Порядком постарел. Потрепала его жизнь. Я вынесла этот аванс и сказала: «Знаешь, то, что ты пишешь мой портрет за деньги, меня не очень удивляет, хотя мы с тобой когда-то были мужем и женой. А ты можешь написать мне портрет нашей общей внучки бесплатно?» – «Да, конечно, сделаю». До сих пор пишет.

Он быстро написал портрет с моей фотографии и заявил: «Ты мне ещё должна 9 тысяч рублей за раму». Я согласилась. А потом приехал мой знакомый Сашка Новоженин, который работал в реквизиторском цехе нашего театра, мы дружили с ним всю жизнь, он знал меня как облупленную. Он был провинциальный актёр, умница, очень начитанный человек, имеющий потрясающую библиотеку. Он посмотрел на этот портрет и сказал: «Валь, это не ты!» Мы с Сашей посмеялись от души над портретом, который я окрестила «Неизвестная в голубом».

Потом Лёню раскопали телевизионщики. Показали его мастерскую, мольберты, картины, жену. Спрашивали, естественно, про меня. И Лёня сделал мне «комплимент»: «Да, она хорошая артистка, но всё-таки жлобиха!» Мы встретились с ним, когда моя внучка Настя танцевала Дюймовочку, и я не выдержала: «Лёня, ты что, с ума сошёл? Это из-за меня показывали тебя, твою мастерскую, твою жену!» Он ответил: «Да ладно, старуха. Всё нормально».

Я снималась в эпизодах, когда Радомир Борисович Василевский, режиссёр Одесской киностудии, предложил мне главную роль в картине «Путешествие миссис Шелтон». Радомир Борисович был детский режиссёр и снимал много. Но к сожалению, его картины не имели особого звучания. Сценарий был не фонтан. Я приехала в Одессу, меня встретили на вокзале – за мной тянулся шлейф «Зигзага удачи». На съёмки я летала как

на крыльях: меня утвердили на главную роль, к тому же Одесса, лето…

Атмосфера была замечательная, мы снимались на пароходе, ездили в Батуми, Сухуми. Радомир относился ко мне идеально, и вообще съёмочная группа подобралась как на заказ. Гена Бортников, Микаэла Дроздовская – очень красивая женщина, с какими-то фантастическими платьями, у неё был муж – известный хирург, открытый дом. В общем, атмосфера царила потрясающая. И я была благодарна Радомиру, что он меня пригласил.

Я вообще, наверное, очень благодарный человек. Я чувствовала, что он меня отстоял, привёз в этот волшебный город. Неважно, что сценарий был невзрачный. Англичанка-швея придумала, что она очень богатая женщина, чуть ли не баронесса. Она отправляется в круиз на советском теплоходе, чтобы пережить измену мужа, но попадает в водоворот событий и находит новую любовь в лице «зайца», который заходит в её каюту, его играл Бортников.

С мужем к этому времени я уже разошлась, у меня был роман с кагэбэшником, от которого я забеременела. Я не решилась оставить ребёнка и сделала эту операцию в Одессе в гинекологической клинике. Всё прошло неудачно. И я не обращала на это никакого внимания из-за своей глупости, а также безумной занятости, потому что снималась постоянно. Не могу сказать, что собственное здоровье меня нисколько не волновало, но я легкомысленно надеялась, что всё рассосётся само собой.

Назначили последнюю съёмку в две смены. Завтра должны были уже сломать декорации. В Советском Союзе всё было жёстко: завтра – значит завтра, и сегодня мы всё должны доснять.

Первую смену отсняли нормально. В павильоне стояла жара от софитов, и вдруг я почувствовала, как из меня что-то хлынуло. В ужасе побежала на второй этаж в туалет, и там я увидела, что из меня вышла большая кровавая «лягушка».

Прибежала гримёрша Любочка, я запомнила её лицо навсегда. Она очень была похожа на мою тётю Катю. Типичная украинка с длинным, тонким иконописным лицом, с большими голубыми глазами. Ей было меньше лет, чем мне (а мне было тридцать восемь), но я нуждалась в консультации: «Люба, что это такое?..» Мы заложили всё ватой, и я пошла сниматься. Она на меня смотрела во все глаза.

Я не могла сказать директору картины и Радомиру, что со мной происходит. По своей безумной наивности я и сама толком не знала, что это за чертовщина. Списывала на жару и усталость.

Съёмки продолжались, и снова я почувствовала приближение

этого кошмара. И опять мы с Любой бежали на второй этаж. И опять вылетали эти кровавые «лягушки». Я сравнивала их размер: больше, чем в прошлый раз, или меньше? Говорила себе: если они не уменьшатся, сниматься не буду. Снова вата, и я бежала в павильон.

И всё повторялось, весь этот нескончаемый ужас. В свои тридцать восемь я не поняла, что у меня кровотечение и что от этого умирают. У меня не было в жизни такого опыта. И молоденькая Люба-гримёрша тоже этого не знала, а больше баб не было на съёмочной площадке – одни мужики.

А потом эти «лягушки» становились меньше, меньше и меньше… И когда мы возвращались в павильон, мужики стояли бледные, они-то, наверное, поняли, что со мной. А я не понимала. Когда мы закончили в полночь или даже в 2 часа ночи, ко мне подошёл директор, молодой, его звали Володя, и сказал: «Валя, в больницу или в гостиницу?» Я ответила: «Знаешь, давай утром приезжай в гостиницу, я хоть полежу. Всё равно ночью ничего делать не будут». И утром он приехал рано, и мы отправились в ту же самую больницу, к той же бабе, начальнику отделения.

Сделали наркоз, и мне приснился сон. Мне даже казалось, что всё это происходило со мной наяву. Я видела себя летящей на каталке по длинному коридору, навстречу свету. И вдруг на моём пути мне преградила путь другая каталка, и на ней лежал Михаил Натанович, мой покойный свёкор. И больше я уже ничего не помню. Я проснулась от наркоза, почему-то врач взял меня на руки и донёс до кровати.

Что это было, я не знаю по сей день.

У нас в театре взяли к постановке пьесу Арбузова, она называлась «Виноватые», и я должна была играть мать, которая когда-то в молодости оставила своего сына, а теперь явилась к нему инкогнито в качестве домработницы. Потом всё раскрывается. Сына играл Тараторкин. У нас с ним не очень большая разница в возрасте, но так распределили роли.

Ставил спектакль украинский режиссёр, художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Миша Резникович. Мы нормально репетировали, он был мной доволен. Отношения складывались хорошо. Вдруг Миша как-то меня отзывает в сторону после репетиции: «Валентина Илларионовна, я не знаю, что мне делать, посоветуйте. У Тараторкина нет мужского начала. Он репетирует, но всё получается аморфно, без темперамента, всё разваливается. Я не могу найти стержень человека, мужчины…» Я говорю: «Мы ведь репетируем всего две недели, найдётся этот стержень…» –

«Да нет, мне кажется, что не найдётся. Я не знаю, что мне делать!» – «Подождите, успокойтесь, всё будет нормально!» Кстати, я с Тараторкиным первый раз репетировала.

Ситуация сложилась хуже не придумаешь. Тараторкин был член президиума театра, он любил состоять при начальстве. Что я могла сделать?

Начались интриги. Через неделю или полторы звонит мне артист Толя Адоскин: «Валя, мы тут все – Плятт, я и Юра Тараторкин решили сказать, что нас Миша не устраивает». Спрашиваю: «А чем не устраивает?» – «Он артиста не слышит, не понимает… Мы все пришли к одному выводу. Ты как, с нами или против нас?» И я говорю дурацкую фразу: «Ребята, я как герой из того анекдота, который повесился за компанию. Я с вами!» Потом я перед Мишей много раз извинялась, а тогда поддержала артистов. Директор театра Лосев поговорил с Мишей, объяснил, что актёры не хотят с ним работать, и Резникович уехал. Конечно, для него это была травма.

Пришёл другой режиссёр, которого привёл Юра Тараторкин. И мы стали с ним репетировать эту же пьесу. А так как он был как бы ставленник Юры, теперь уже у меня не складывались с ним отношения. Режиссёр один раз меня вызвал: «У нас с вами не получается». Я говорю: «Ну, давайте подумаем, сделаем так, как вы считаете…» Но мы не находили общего языка. А уже репетиции вошли в такую фазу, когда требовалось выкладываться. И там у меня был очень сильный всплеск чувств, эмоциональный выброс в сцене с Тараторкиным.

Потом проходит ещё какое-то время. Меня вызывает Лосев. Сидит Плятт, сидит Адоскин, Тараторкин не присутствовал. И Лосев говорит: «Знаете, Валентина Илларионовна, с вами режиссёр не хочет работать, он не может найти с вами языка». Я спокойно отвечаю: «Ну, если он не может найти со мной языка, тогда мне надо уходить. Пусть будет другая артистка». Лосев тут же ухватился: «Хорошо, что вы сами это сказали. Да, наверное, вам надо уходить». И меня сняли с роли.

Я пришла домой. Естественно, расстроилась безумно. А у меня как раз гостила одна моя парижская подруга. Это был 1985 год, я тогда начала ездить во Францию. Подругу звали Эмма, она часто приезжала в Москву.

Жизнь Эммы складывалась как в романе. Она окончила институт иностранных языков, французское отделение, и решила во что бы то ни стало уехать во Францию. Естественно, уехать так она не могла, надо было искать мужчину, чтобы выйти за него замуж. Она нашла француза. Он о серьёзных отношениях даже не помышлял. А любовник для кратковременной связи Эмму не

устраивал, ей надо было, чтобы он сделал ей предложение. Это было очень трудно.

И Эмма придумала беспроигрышный вариант – стала подкладывать под живот вату, и объявила всем, что беременна. О своём интересном положении она тут же сообщила своему французскому любовнику Он начал писать ей самые нежные письма, а живот всё рос и рос. Он обещал приехать в Москву, жениться на ней и увезти её во Францию.

За неделю до приезда жениха Эмма сделала себе «выкидыш»: убрала всю вату. Он увидел её больную, в печали, сам ужасно переживал, что они потеряли ребёнка. В конечном счёте она своего добилась: вышла замуж за француза и уехала во Францию.

Он давал ей один франк в день. Естественно, Эмма как девушка свободолюбивая, хоть и приехала из-за железного занавеса, такого к себе отношения не потерпела. Она ведь совсем не так представляла себе жизнь на Западе.

Через год Эмма развелась с французским мужем и устроила всё так, что все друзья-французы подтвердили на суде, что виноват он, а не она. И Эмма ушла в свободное плавание, имея французскую фамилию… Ей было уже легко.

…Так вот, когда после того как меня лишили роли, я пришла домой в расстроенных чувствах, лох лохом, и всё рассказала Эмме, она, совершенно не театральный человек, сказала такую фразу: «Так Тараторкин увидел, что ты его переигрываешь, поэтому он тебя и снял с роли». Так ли это было, я не знаю. Но то, что с моей помощью ушли Резниковича, это точно. И актёры, которых я поддержала в этом неблагородном деле, наверное, могли меня защитить.

После этой истории я перестала разговаривать с Тараторкиным. Не разговаривала с ним десять или пятнадцать лет. Мы даже не здоровались. Это, пожалуй, был первый случай, когда я в театре с кем-то не разговаривала.

Потом уже одна ассистентка рассказала мне такую историю. Однажды на Киностудии имени Горького снимали сказку, там был персонаж Кощей Бессмертный. И они решили, что Тараторкин очень подходит на эту роль. Эта ассистентка позвонила ему с таким предложением. Он стал кричать на неё – как она смела предложить ему эту роль. И ассистентка сказала мне: «Вы знаете, Валентина Илларионовна, я попала в цель стопроцентно…»

Мир тесен, особенно театральный. И на каком-то вечере мы с Тараторкиным читали Достоевского. Прошло время, он забыл, я забыла, наверное, простила, и мы заговорили друг с другом, как будто ничего не случилось.

Не зря говорят: всё, что ни делается, всё к лучшему. Как только меня сняли с роли, на другой день раздался звонок: «Валентина Илларионовна, это Сергей Вадимович Бодров. Я написал сценарий и собираюсь снимать фильм „Непрофессионалы”. Мне хотелось бы, чтобы вы сыграли главную роль».

Мне прислали сценарий, я его прочитала, сценарий мне безумно понравился. Потом Бодров сказал, что хотел бы сделать пробы. Я спросила, во что будем одеваться? «Захватите с собой что-то из дома, что могла бы носить женщина в доме престарелых», – ответил он. Я захватила старенькую береточку, ношеный розовый халатик, спортивный чёрный костюм. И сделала пробу. Бодров сказал: «Всё, я вас беру. Я так и знал, что не ошибся». Я говорю: «А у нас потом будет примерка костюмов?» – «Нет, вы будете сниматься в этом костюме». И я снималась в этом костюме.

Сценарий был написан потрясающе. Единственная трудность состояла в том, что мы снимали в реальном доме престарелых, за 80 километров от Алма-Аты. Мне надо было не выделяться среди постояльцев. Не знаю, удалось это или не удалось, но на Международном кинофестивале в Турине фильм отметили премией, а я получила приз за лучшую женскую роль.

Фильм лежал один год на полке, его не выпускали, но потом выпустили. Наступило уже другое время. Когда вспоминаешь те съёмки, видишь мысленным взором всё так чётко, как будто это было вчера.

Помню жителей этого дома престарелых, казахов и русских. Там находилась бабушка, которая не ела, не пила от горя и тоски. У неё был сын, сноха, дом, а её привезли в дом престарелых. Сдали как ненужную вещь. И все об этом говорили. Естественно, без слёз на неё нельзя было смотреть. И я предложила Сергею Владимировичу: «Давайте поедем к её сыну». У меня почему-то теплилась надежда, что наше участие заставит этих людей одуматься.

Сергей сразу согласился. Он ведь очень отзывчивый человек. И он рассказывал, что у него есть пятнадцатилетний сын Серёжа, которого он очень любил. Кто мог тогда знать, что этот мальчик, Сергей Бодров-младший, станет известным актёром, талантливым режиссёром и погибнет на съёмках своей картины, похороненный под тоннами смертельно тяжёлого снега.

Мы приехали в семью этой бабушки, они накрыли нам стол. По-моему, я там плакала. Мы увещевали: «Ребята, нехорошо, что вы отдали туда мать. Она не ест ничего. Она находится в ступоре,

что при живой родне, сыне и невестке, её увезли в дом престарелых». Они дали нам слово, что заберут мать. Потом мы такой аргумент им приводили: «Ну, ребята, будет кино, вашу бабушку все увидят. Это же позор!» Они обещали: «Да, да, хорошо, мы сделаем». Мы потом узнавали: нет, не взяли. Они жили недалеко от этого дома престарелых, они были не казахи, они были русские. Вот такой у нас народ.

Мы сняли фильм. Бодров не делал каких-то режиссёрских замечаний, он ведь сценарист, и это была его первая режиссёрская работа. У него всё шло от сердца, я его сама для себя переводила. И выходило очень хорошо и точно. Общение с ним – большое удовольствие, и я была счастлива, что снималась в его картине.

Я потом следила за его работами. Мне всё время хотелось посмотреть его фильм «Великий монгол». Однажды его должны были показывать по телевизору, я опаздывала, влетела в комнату и начала быстро искать по всем каналам, и вдруг наткнулась на этот язык, язык Бодрова. По-моему, он был влюблён в Восток и в бескрайние казахстанские степи. Они на него действовали. Мне кажется, что он человек пространства, космоса, ему тесно в городской квартире.

Потом, когда мы встречались, он говорил мне, что многие считают «Непрофессионалов» одним из его лучших фильмов. А я могу добавить, что это – картина, за которую мне не стыдно.

Маргарита Эскина, директор Центрального дома актёра, была арбатской Маргаритой. Не раз здание пытались отнять государственные чиновники. Но дом на старом Арбате удалось отстоять. Маргарита Александровна продолжила дело своего отца, возглавив ЦДА в разгар перестройки. И она видела, как горел Дом актёра. Это был поджог. Огонь уничтожил здание, почти весь архив ВТО, уникальную библиотеку, легендарный ресторан, помнивший всех знаменитых артистов.

Потом была битва за новый дом, Мария Владимировна Миронова, по легенде, ногой открыла дверь в кабинет Ельцина, и он передал в аренду на 50 лет здание Министерства культуры СССР на Старом Арбате. Очередная попытка отобрать этот лакомый кусочек состоялась в 2007 году, когда пришёл ОМОН с требованием освободить здание. У Эскиной не ходили ноги – что-то было со спиной. Она лежала, ОМОН встретил Владимир Этуш. Его спросили: «А вы кто такой?» Он ответил, что он не только народный артист, но ещё и заместитель директора.

Маргарита Александровна меня очень любила. Оказалось, что мы с ней почти в одно время учились в ГИТИСе. Я – на актёрском

факультете, Маргарита – на театроведческом, на два курса старше. На самом деле, мы были почти ровесницами, но я два года потеряла в сельхозинституте.

Когда я приходила в Дом актёра – а я туда приходила не часто, я эти тусовки не люблю, да и вообще пренебрегаю светской жизнью, – она протягивала мне руку и говорила: «Валюнчик мой любимый пришёл». А меня всегда оторопь брала, и я думала: неужели она это искренне говорит? Но она меня всегда так встречала, и я верила, что она меня действительно любит.

Адвокат Александр Евгеньевич Калинин, который должен был защищать наш Дом, сказал, что мы должны устроить пресс-конференцию. И мне позвонила Маргарита: «Валя, я прошу вас прийти на пресс-конференцию и выступить». Я спросила: «Какие бабы ещё у вас будут? Я считаю, что должна присутствовать „тяжёлая артиллерия" – Доронина или Волчек». Но Маргарита сказала: «Нет, я с ними не дружу. Но обещали прийти Юлия Борисова и Верочка Васильева». В такой компании я, конечно, согласна была выступить.

Когда я туда пришла, у меня возникло ощущение, что это чистые похороны. И была масса чёрных, как галки, камер. Народ сидел как на похоронах – такая гнетущая тишина. Тогда ещё митингов не было.

Я стала искать нашего адвоката Калинина. В комнате стоял громадный, довольно полный мужчина, мрачный, с нависшими бровями – вылитый Челкаш. Представилась: «Я – Талызина». Он ответил: «Вижу!» – «А что мне делать?» – «А что вы можете? Эмоции?»

Первым вышел Зельдин. Он говорил, что, когда приходишь в этот дом, тебе обязательно дадут сладкий чай с пирожком. И вообще этот дом – место, где отогревается сердце артиста. Выступил Фоменко и сказал тихим, прерывающимся голосом, что все награды он положит на стол правительства, если Дом актёра будет отобран. Потому что здесь начинался его театр, здесь всё рождалось, а теперь это хотят уничтожить.

А в кулуарах ходили слухи: что дом стоит полмиллиона евро и Госкомимущество забирало его, чтобы потом пустить с молотка, а разницу взять себе.

Выступали Губенко, Табаков. Олег Павлович всех обложил: всё делается не так, а он знаком с президентом – надо всё делать по-другому. Наконец поднялся Рязанов и сказал: «Мы пойдём с плакатами к Белому дому, мы так это дело не оставим».

Объявляют меня. Беру микрофон. Первое, что я сказала: «Владимир Владимирович, вы ведь сами говорили, что вы выбрали свою профессию, потому что смотрели „Щит и меч"».

Затем напомнила, что здесь действительно для актёров дом родной. А закончила своё выступление обращением к Медведеву: «Дмитрий Анатольевич, я не буду за вас голосовать, если вы позволите у актёров забрать этот дом». Были аплодисменты. Сходя со сцены, я спросила этого «Челкаша»: «Доволен?» – «Вполне».

Говорили, что «Талызина повернула собрание». И через полтора дня Дмитрий Анатольевич в Челябинске сказал, что мы не позволим забрать Дом актёра. Потом мне позвонила Маргарита: «Валя, как ты сказала! Я плакала…»

Так мы отстояли наш Дом.

Где-то в 1990-х годах Виктор Мережко дал мне пьесу «Двое с большой дороги». Вообще-то он написал её для Наташи Гундаревой и Миши Филиппова. Но у них почему-то не склеилось: то ли не получилось, то ли просто не захотели. И эта пьеса досталась мне. Она показалась мне интересной и смешной.

Сюжет такой: два вора встречаются в квартире, которую они хотели обчистить, и друг друга разыгрывают. Она строит из себя хозяйку дома, а он представляется милиционером, который хочет поймать воровку. Она ему даёт ключами по голове, он падает. Потом вызывает милицию. И по всем законам жанра между ними рождается какое-то чувство.

Я дала пьесу почитать режиссёру Андрею Житинкину, он заметил: «Валя, из этой пьесы можно что-то сделать. Давайте искать артиста». Я часто ездила отдыхать в Дом актёра в Ялту и там увидела Борю Щербакова. Он был со своей женой Таней и, по-моему, с сыном. Борис произвёл на меня впечатление. Я сказала Житинкину: «Ты знаешь, такой потрясающий красоты мужик! Такой актёр! Давай его пригласим!» Житинкин сразу остудил мой пыл: «Борис – артист действительно потрясающий, но вряд ли согласится. Он сейчас очень востребованный, всюду снимается. Конечно, было бы здорово, если бы он пошёл, но вряд ли получится его уговорить».

Но я уже не могла остановиться, предвкушая будущий успех антрепризы, и предложила: «Давай я пойду и попрошу. Пойдёт – пойдёт, нет – так нет». Я позвонила Боре, он сказал: «Оставьте пьесу на проходной театра!» Я оставила пьесу на проходной.

Прошло время, я позвонила Боре узнать, как пьеса. Он сказал, что пьеса ему не понравилась и он работать не будет. Что ж, мне оставалось только забрать пьесу и поставить точку на этой истории. Боря сказал: «Зайдите ко мне в гримёрку и возьмите пьесу». И когда я забрала пьесу и пошла к двери, он мне в спину сказал: «А вы знаете, пожалуй, я соглашусь». Я обернулась: «Ну что ж, вы мне сделали подарок, очень большой». Тогда он

позвонил Житинкину и спросил, когда у нас будет репетиция…

Мы начали репетировать. Так как мы с Житинкиным работаем в Театре имени Моссовета, то репетиции проходили у нас. Нам как-то удалось вычистить пьесу от всех пошловатых моментов, оставив очень точную сюжетную линию. Так как мы люди профессиональные, справились своими силами: костюмы нашли сами, декорации тоже сделали сами. И в первый раз мы сыграли в клубе Дома ветеранов сцены.

Боря играл блистательно, а я, между нами говоря, конечно, с ходу влюбилась в него, потому что не влюбиться в этого актёра невозможно. Он красив, обаятелен, с мужской харизмой. Я в него была влюблена безумно. Но я понимала, что нельзя дать развиться этому чувству, потому что, во-первых, у нас разница в возрасте не в мою пользу – я старше, во-вторых, он и без меня не обделён женским вниманием, я это понимала и видела. И вообще мне показалось, что не надо смешивать работу и романы. А вскоре мы поехали с Борей на гастроли. Билеты взяли в СВ. Две койки: он на одной, я на другой. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я улеглась, скромно под одеялом разделась. Боря тоже снял одежду, потом повернулся и так лениво направился ко мне. На что я ему сказала: «Не подходите ко мне!» Он не обиделся: «И очень хорошо». То есть с таким облегчением он это произнёс… Вроде как он должен был это сделать, обстоятельства вынуждали, а я сказала «нет», и наконец-то, слава богу, закончились все мысли по этому поводу. То есть я действительно облегчила задачу, и с тех пор никаких поползновений не было. Моя влюблённость в партнёра по спектаклю, конечно, мне очень помогала.

Потом мы поехали в Свердловск. У нас не было директора, а звонили уже со всех концов России. Борина популярность не знала пределов. Причём на самых разных уровнях. И когда мы приезжали в какой-нибудь дворец культуры и оказывалось, что директор – женщина, она на Борю смотрела, как кролик на удава. Я помню, он говорит: «Нам нужен стол!» – «Да, будет!» – и продолжает на него смотреть. Боря идёт дальше по списку: «Потом: ещё нужно четыре стула!» – «Будет!» – и по-прежнему не сводит глаз. «Ещё надо торшер», – диктует Боря. «Да, будет торшер!» – соглашается начальница, отдавая очередную команду и глядя на Борю как на чудо. Я ничего не придумываю, я это видела своими глазами, мне было смешно и приятно. Женщины его боготворили.

Однажды мы шли по вокзалу, и носильщик вдруг сказал: «Борис, а ты постарел, между прочим…» И Боря без паузы выдал: «Ну, ты тоже не мальчик!» – и пошёл дальше. Должна честно

признаться, что шли всё-таки больше на него, я просто хорошо играла. Мне было легко и приятно рядом с Борисом.

Когда я познакомилась с его женой, она сказала: «Вы старше…» Я ответила: «Знаете, Таня, вы ему не вкладывайте эту мысль, что я старше. Старше и старше… Может быть, я по роли старше, по спектаклю. Но всё-таки нам играть, и у него должна быть ко мне какая-то симпатия…» Я ему не нравилась, может быть, как женщина. Но я ему нравилась как артистка, это – да, никаких сомнений.

Так как я объездила весь Советский Союз и всю Россию по второму, а то и по третьему разу, то я уже хорошо ориентировалась. Однажды мы приехали в Киев, и Борис выходит из номера, а я уже с сопровождающей девочкой, с корзинами, собираюсь за покупками. «Вот вы, куда вы сейчас идёте?» – интересуется Боря. «На рынок!» – «А зачем?» – «За вишнями!» – «Почему вы только себе покупаете, почему мне не покупаете?» – «А вам тоже хочется? (Мы с ним иногда были на «вы», иногда на «ты».) – «Конечно!» Я говорю: «Ну, мы вам купим, однозначно».

У Бори оказался один недостаток. Я понимаю, что при его красоте, при его популярности невозможно было себя сохранить. И он был слаб и не мог как-то себя ограничить.

Однажды в один из первых спектаклей мы пошли на сцену, а в комнате рядом нам уже накрывали стол. Там было вино, водка, закуска, всё-всё… Естественно, запахи дразнили. Я прошла мимо, а Боря зашёл, а там были одни бабы. Он купался в этом море любви, симпатии, обожания.

У нас спектакль через 10 минут, а мой партнёр, наверное, кому-то предложил выпить, потом ещё… Короче говоря, я стою в кулисах, а он стоит напротив (мы выходили с двух сторон кулисы), и я вижу, что Боря как-то странно себя ведёт. Это меня насторожило. А когда мы вышли на сцену, я поняла, что Боря, мягко выражаясь, нетрезв. Он, конечно, очень профессиональный актёр, и талант, говорят, не пропьёшь, но есть какие-то границы, которые нельзя переходить.

Мы всё-таки отыграли наш спектакль, а потом я сказала: «Мы с вами расходимся, я этого терпеть не буду». Он замялся и пробормотал: «Ну что ж, расходимся – значит расходимся…»

Спектакль готовый, спектакль хороший, да ещё про любовь. Опять пошли звонки, приглашения. В общем, я сдалась. Мне показалось, что Боря сделал для себя какие-то выводы. Он держался. И только однажды случился срыв.

Прилетаем мы в Ухту. На дворе середина девяностых. Лихие годы. Бригады, бандиты, группировки. Встречает нас продюсер – молодой парень по имени Миша, который нас и пригласил в Уфу

Он сказал: «Вот вы прилетите 7-го, а спектакль назначен на 9-е, но ни 8-го, ни 9-го самолёта нет, только 7-го». Хорошо, значит 7-го.

Мы прилетели. И только самолёт приземлился, у трапа стоял Миша с какими-то мужиками. Их было двое или трое. Один очень выделялся своей выразительной фактурой: жилистый парень, с бритым наголо черепом, торчащими ушами, маленькими голубыми глазками. Такой бандитский типаж. И они как-то Борю взяли… и увели. И Миша только крикнул мне и звукорежиссёру Марине: «Вас будут кормить в гостинице: завтрак, обед и ужин». И они словно растворились. Это было 7-го утром.

Мы приехали в гостиницу. Действительно, нас в ресторане кормили. Мы немножко погуляли, походили. Потом проверили с местным радистом радиорубку, всё ему показали. Посмотрели декорацию. Прошло седьмое число, и наступило восьмое.

От Бори ни звонка, ни записки, ничего… Полное молчание. Идёт день. Опять мы завтракаем, обедаем, гуляем, ужинаем, занимаемся профессиональными делами. На душе кошки скребут: где же Боря?

Опять проходит день. Ни привета, ни ответа – ничего. Уже всякие жуткие мысли в голову лезут. Живой Боря, не живой – не знаем. Продюсер Миша тоже как в воду канул.

Девятого просыпаюсь в 6 утра. Мне нехорошо. Чувствую, что надо вызвать «скорую помощь». «Скорая» приезжает быстро. «Знаете, у вас давление, почему вы не пьёте лекарства?» Снижают давление, я лежу, засыпаю, всё хорошо. В час дня ко мне приходит звукорежиссёр и начинает плакать. Я спрашиваю: «Что ты плачешь? Мы в три часа поедем, проверим декорацию, я загримируюсь. Ты проверяешь аппаратуру. Что ты плачешь?»

Я получаю гонорар на всех: на Борю, на себя, на Марину. Был такой порядок, потому что мы обходились без директора.

Три часа дня. От Бори и от Миши по-прежнему никаких известий. Наконец в пять привозят Борю. Ни-ка-ко-го. Я смотрю на него с любовью и с тоской. Из-за моей спины раздаётся вкрадчивый голос директора дворца культуры: «Валентина Илларионовна, как вы думаете, Борис Васильевич сможет играть?»

У меня молнией проносится в голове сумма гонорара, которая, извините, лежит в грудях, вдогонку сверкает мысль о том, как я планировала распорядиться этими деньгами: то починить, то сделать. И что же теперь – возвращать гонорар? Я нагло и смело говорю: «Да, Борис Васильевич сможет, только ему сейчас надо поспать. Положите его в комнату, два часа пусть он поспит. Около двери поставьте какого-нибудь человека, дайте

подушку, одеяло…» Директор переводит дух: «Хорошо, хорошо… – А потом подходит и спрашивает: – А когда будить Бориса Васильевича?» – «Без десяти семь…» А в семь спектакль…

Борю будят в семь. Он быстро переодевается, гримируется. Он вообще мало, по-моему, гримировался. Мы встречаемся уже на сцене. И я с ужасом понимаю, что этот двухчасовой сон ничего не дал. Это, конечно, был шок. И я начинаю орать. Я весь свой текст кричу. Боря отвечает нормально, но мне ясно, что он идёт на автопилоте. И между своими репликами говорит: «Чего ты так кричишь?» А я кричу, чтобы как-то его встряхнуть! По-моему, я проорала весь первый акт, и Боря мне ещё раз говорит: «Чего ты так кричишь?» Правду сказать, четверо зрителей ушли из зала, чего раньше никогда не было на нашем спектакле.

И мы заканчиваем спектакль. Я, бледная, наоравшись, прихожу к своёму партнеру в уборную. Там уже стоит этот бритоголовый, с торчащими ушами. Я едва сдерживаюсь: «Борис Васильевич, вы помните, что у нас завтра самолёт в шесть утра?» – «Ларионовна, почему ты со мной разговариваешь, как с идиотом? Я всё помню, я не идиот». Потом он поворачивается к этой жилистой глисте и говорит: «Слушай, сделай ей мужика…» Тот щерится: «Однозначно. Рост, цвет, возраст, размеры…» Я себе говорю: «Спокойно, это вообще ко мне не имеет отношения! – и обращаюсь к моему партнёру: – Борис Васильевич, так вы помните, что мы завтра вылетаем в шесть? В пять вы должны спуститься вниз».

На следующий день утром мы с Мариной стоим, как два охранника, в фойе и ждём Борю. Боря спускается нормальный, и тут входит эта глиста и ещё какая-то девка – провожают! Думаю: ну нет, я сяду на переднее сиденье, а вы садитесь где хотите. Они садятся сзади. И эта девка выдает: «Борь, а Борь, эта, которая вчера с тобой играла, ножки у неё ещё ничего…» «Так, – говорю себе, – Валя, молчи, ты не знаешь, о ком идёт речь».

Мы подъезжаем к аэропорту, и тут начинается интересное. Как только мы вошли в вестибюль, бритоголовый и ещё несколько парней сразу начали теснить Мишу и что-то требовать от Бори. И тут до меня доходит весь кошмар нашей ситуации. Я понимаю, что они от Бори и от Миши требуют за что-то деньги. Нас провожали директор дворца культуры и его жена, я у них спросила: «Что этим людям надо?» Она шепнула: «Уходите, уходите, идите в регистрационный зал…» Я к Боре: «Боря, быстро, быстро…» И мы быстренько прошли и зарегистрировались на рейс. Что там дальше было, я не знаю.

Я вхожу в самолёт и говорю стюардессе: «Вы знаете, моему партнёру, народному артисту России Борису Щербакову плохо, он

начинает заболевать гриппом. Нет ли трёх свободных кресел, чтобы он лёг?» – «Да, конечно, конечно…» Он ложится и проваливается в сон. Мы летим два часа. Наконец приземляемся в Москве, садимся в машину. Шофёр спрашивает: «Куда ехать?» – «К Щербакову домой». Мы подъезжаем к его дому, я достаю из грудей его гонорар и говорю: «Борис Васильевич, одну секунду…» И он мне под занавес говорит: «Ларионовна, что ты со мной разговариваешь, как с идиотом?» Поворачивается и уходит.

Мы спектакль играли 6 лет. Мы побывали с ним в Австралии, Америке, в Канаде. Этот спектакль мы закрыли, потому что Боря понял: я уже не могу играть любовь. Но нам ещё очень долго звонили и просили сыграть. Я отвечала: «Звоните Щербакову…»

Когда моя дочь Ксюша стала подрастать, я почувствовала, что возникает какой-то антагонизм в нашей маленькой семье. Между мамой с Ксюшей и мной. Эти двое словно дружили против меня. Я не знаю природу этого антагонизма. Может быть, причина была в моей вечной, какой-то безумной занятости – играла в театре, снималась, моталась с концертами, а они проводили это время вместе: мама и Ксюша, возможно, они ревновали к мужчине, с которым у меня происходил страстный роман, – сотруднику КГБ.

Когда я была от него беременна, мама сказала: «Зачем нам эта белобрысая крыска…» Если бы мама в тот момент меня поддержала: «Как-нибудь вырастим!» – я бы оставила этого ребёнка…

Мама не любила никого, кто со мной приходил: ни мужчин, ни женщин. У неё глаз был абсолютный ватерпас, она видела человека насквозь. Она была очень доброжелательная, в нашем доме её очень любили. Но что бы я ни делала и как бы ни старалась, она всегда была недовольна: всё было не так. Она всегда лучше знала, как надо.

Однажды мама поехала в Сибирь навестить свою сестру, тётю Катю. А когда мама приехала, Ксюша заявила: «Баба, она на меня кричала и заставляла работать!»

Ксюша поступила в знаменитую спецшколу № 20, там учился внук Громыко. Класс был очень непростой: сплошные дочки и сыновья советской элиты. Где-то в классе четвёртом я им ставила спектакль «Двенадцать месяцев». Я кричала: «Белки, заряжайтесь!», и этот внук Громыко кричал громче всех: «Белки, заряжайтесь!» Это было здорово. Учителя меня благодарили.

Ксюша не захотела быть комсомолкой, чем меня повергла в полный ужас. Зачем идти поперёк, против стаи? Как говорила моя подруга, актриса Лида Савченко: «Валя, против стаи идти не надо».

Дочери совсем не давалась химия, зато у неё был абсолютный слух. Она ходила в музыкальную школу, у нас было пианино. Приходила Лёнина мать, бабушка Фаня, и учила Ксюшу музыке. Ксюша окончила музыкальную школу при Академическом музыкальном училище им. П. И. Чайковского в Мерзляковском переулке. Комсомолкой она так и не стала.

Однажды Ксюша мне сказала такую фразу: «Мама, вот ты меня всё время ругаешь. Ну, смотри, стоит одна скамья, и на ней сидят девочки, а перед ними стоят все мальчики. Я прихожу, мне места нет, я сажусь на другую – абсолютно пустую скамейку. Через некоторое время все мальчики перетекают и становятся возле меня».

И я поняла, что это действительно так, как бы моя мама не говорила: «Вот все твердят, что она красивая, а я не вижу ничего…», но я, между прочим, видела. Когда ей было 9–10 лет, она была вылитая итальянка, это было что-то невозможное.

Вспоминаю момент, когда она посоветовалась со мной. У неё был переходный возраст – время становления. Я понимала, что в 15 лет идёт взросление, и проявляла всяческую осторожность. По-моему, даже ходила советоваться к психологу.

Однажды Ксюша мне сказала: «Мама, мне нравится Гриша. Я ему позвоню и приглашу в кино…» Мне, взрослой женщине, было ясно, что если этот Гриша сам не звонит и не приглашает Ксюшу, то ей лучше не проявлять инициативу. Наступил такой момент, когда мне нужно было дать ей совет, чтобы это было и ненавязчиво, и в то же время действенно.

Вдруг меня пронзила мысль, и я поняла, что мне нужно делать. Помогла моя актёрская профессия. Я предложила Ксюше: «Знаешь что, а давай проиграем. Я буду Гришей, а ты будешь Ксюшей. И мы проиграем два варианта, когда ты приглашаешь Гришу, и когда Гриша приглашает тебя». Она с радостью согласилась. И мы начали играть.

Когда она мне «звонила».

– Гриша, а ты не хочешь пойти в кино?

– Что? Какое кино? Да нет, я это уже видал.

Мы с Ксюшей, естественно, не сговаривались. У нас шла чистая импровизация:

– А вот другое кино…

– Да нет, мне ещё литературу надо прочесть…

– Ну, а может быть, просто погуляем?

– Да ну! Неохота!

Ксюша не выдерживала: «Ну, мама, а что ты так отвечаешь?» Я спокойно говорила: «Это он так отвечает, не я, это он может отвечать: „Гулять? Да холодно…”»

Затем мы изменили диалог. Теперь Гриша ей звонил.

– Ксюша, пойдём на фильм «Красные дьяволята»?» – спрашивала я.

– А я его уже видела.

– Ну, тогда пойдём на другой фильм! Не хочешь? А давай в кафе, возле зоопарка есть открытое кафе…

Я предлагала миллион вариантов, куда её звал Гриша, а она отнекивалась. Потом я спросила: «Ксюшенька, какая сцена тебе больше нравится?» Она призналась: «Вторая, когда Гриша мне звонил». Я ей сказала: «Милая моя, вот и дождись второго варианта. А первый, я думаю, как ты поняла, тебе не подходит».

Когда ей исполнилось 16–17 лет – а она была просто обворожительной девушкой, я ей сказала: «Запомни, моя хорошая, ты будешь стоить ровно столько, насколько ты себя оценишь. Если ты себя оценишь в 3 рубля, ты и будешь стоить 3 рубля. Если ты себя оценишь в 30 рублей, ты и будешь стоить 30 рублей, если в 3 тысячи, ты и будешь стоить столько. Если оценишь в 3 миллиона, ты и будешь стоить 3 миллиона. Или вообще тебе не будет цены, сколько ни предлагай!» По-моему, это на неё подействовало. И она себя очень держала. Если у неё были какие-то нелады на личном фронте, она говорила: «Ну ты же меня такой воспитала». И я думала, что я правильно поступила.

Когда Ксюша заканчивала десятый класс, я ей советовала научиться печатать на машинке с иностранным шрифтом. Спокойная и доходная работа, на кусок хлеба с маслом всегда хватит.

Я не хотела, чтобы она была артисткой. В нашу профессию можно уйти один раз, не зная, что это такое. Если, конечно, ты хочешь чего-то добиться на этом поприще по-настоящему.

Но она всё-таки заявила, что пойдёт в артистки. К сожалению, она не видела всех мук, всех перипетий моей жизни, всех обид и всех сомнений. Она не знала, какие испытания для самолюбия преподносит актёрская профессия! Я ей не рассказывала. Я даже маме не всё рассказывала. Ксюша тем более не подозревала, что мне пришлось вынести, когда Завадского сменил Лосев, который меня ненавидел как главного врага своей жизни. Положение у меня было в театре плохое. Однажды, когда я снималась в картине «И это всё о нём», я заплакала. Я это очень хорошо сыграла. И мама мне сказала: «Какая, Валя, у тебя трудная профессия». Я подумала: ну, слава богу, что ты это увидела. А дочка не видела.

Когда моя дочь Ксюша приняла решение стать актрисой, я начала с ней работать. Я не педагог и не режиссёр. Никогда в

жизни не буду этим заниматься. У меня не хватает терпения спокойно и тихонько рассказать, что нужно делать.

Меня не раз приглашали быть педагогом. Я понимала, что этому надо посвятить жизнь. Потому что актёрская профессия требует столько отдачи, столько шлифовки, столько работы над собой!

Сейчас, когда я вижу совершенно беспомощную артистку-партнёршу, я предлагаю ей очень лёгкое задание, чтобы она его выполнила, и тогда удаётся сделать маленький шажочек вперёд. Только теперь я подошла к этому пониманию.

Вспоминаю одну прехорошенькую артистку, у которой была очень плохая речь. Поэтому ей не следовало ни показываться, ни выходить на сцену. Она окончила театральный институт, но мне пришлось ей сказать, что, к сожалению, её там не научили. Или она не научилась. Такое тоже встречается. Единственный выход – сейчас же пойти к настоящему логопеду и поработать над речью. В театральном её очень быстро натаскали на ампула, но выскочить из него будет невозможно. Я посоветовала этой актрисе найти такого режиссёра, чтобы он вернул её к самой себе.

Недавно дала совет молодому актёру: «Ты репетируешь сейчас „Пиковую даму”, тебе надо прорваться из живота в небо, ты должен заорать, сколько есть у тебя сил: „Старая ведьма, я заставлю тебя говорить!” – тогда это выстрелит! А если будешь шептать себе в животик, как говорила Марецкая, то ничего не получится, к сожалению».

Сегодня – время сериалов. Приходит актёр. Если у него есть индивидуальность и мастерство, он весь выкладывается и уходит со съемки опустошенный. И только очень «оснащённые» актёры, которые работают в театре, могут выдержать эти 280 серий.

Я смотрела «Институт благородных девиц», где снималась моя дочь. Всегда радуюсь, что она снимается. И конечно, просмотрела весь сериал. Звонила Ксюше и очень мягко говорила: «Вот здесь ты хорошо играешь, а вот здесь… Тебе правду сказать или лучше промолчать?» Она говорила: «Скажи правду».

Только три человека тянули сериал до конца. Остальные отпали, как пиявки. На них было неинтересно смотреть. Ещё Чаплин говорил: «Садитесь, смотрите фильм, если через две с половиной минуты вам становится неинтересно, можете выключать или уходить».

А когда я начала работать с Ксюшей, то, естественно, и нервничала, и кричала, и была непедагогичной. Подготовка у меня получалась коряво. Короче, я тащила дочь на Наташу Ростову, а у неё не получилось. Она пошла к Калягину и провалилась. Несмотря на громкую фамилию. Я поняла, что это

полный ужас. Ксюша жутко расстроилась.

Конечно, я пыталась ей помочь, кому-то даже звонила. За долгую жизнь в актёрской профессии у меня, естественно, накопились и связи, и знакомства. Но этого было мало. Ксюше требовалось блеснуть, произвести впечатление на членов приёмной комиссии, прочитать так, чтобы всем стало ясно: эта девушка достойна учиться в театральном вузе, у неё имеются данные.

А у нас в театре был прекрасный артист Владимир Фёдорович Гордеев. Для меня он просто Володя. Он обычно говорил: «Кошенька, ты делаешь не так. А попробуй сделать так…» Кошенька – так он обращался к молодым девушкам.

Оставалось шесть дней до сдачи экзаменов в ГИТИСе. Я его попросила: «Вова, Ксюша провалилась к Калягину. Вся надежда на тебя. Сможешь её подготовить?» Он сказал: «Валя, я возьмусь, пусть она ко мне придёт. Но дай мне слово, что ты к ней больше не подойдёшь и не будешь учить её играть». Я сказала: «Хорошо». Он поменял ей репертуар, и она поступила.

Ксюша стала студенткой ГИТИСа, и у неё началась эйфория. Я невольно вспоминала свои студенческие годы и сравнивала, сравнивала. Конечно, всегда можно сказать, что время было другое. Да, другое, но всё равно…

Я впитывала актёрскую науку как губка, а для дочери, мне кажется, важнее была вольная атмосфера творческого вуза, студенческая жизнь. Для меня стало потрясением, что Ксюша закурила. Я не понимала, как артистка может курить. Женский голос должен оставаться чистым. Голос – это редкий, бесценный дар.

Ксюше в ГИТИСе нравилось всё. На её курсе учились красавцы-мужчины. По-моему, самый красивый парень был в неё влюблен, она многим нравилась. Ксюша при желании может вскружить голову любому мужчине. Она и курила, и, как сегодня говорят, тускла – растворялась в этом курсе. Я с тяжёлым сердцем чувствовала, что моей дочери не до профессии, не до каких-то серьёзных вещей.

С лёгкостью она мне заявила: «У меня такой семейной жизни, как у тебя, не будет. У меня будет настоящая хорошая семейная жизнь». Я ей ничего не сказала, а про себя подумала: «Дай-то Бог».

Конечно, я не могла молчать и делать вид, будто всё идёт как надо. Я стала говорить очень суровые слова, начала говорить правду. Для меня было невыносимо видеть её отношение к профессии, ко всему тому, что составляет смысл моей жизни. Ксюша к актёрскому ремеслу относилась легко. Особо себя не

утруждала. Она очень хорошо шла по мастерству, этого у неё было не отнять. Однажды Виктюк пришёл и сделал им один отрывок. Там они все играли блистательно, и она в том числе, просто потрясающе играла. Но это же Виктюк пришёл! Женя Лазарев был хороший педагог, он их учил добросовестно, вкладывая основы ремесла.

Я написала сценарий для Ксении «Поэтесса Серебряного века». После спектакля. У неё главная роль, а я была хором сзади

И потом она устроилась в Театр Российской армии, где и сейчас работает. Когда я одного агента спросила: «Почему вы не снимаете такую красоту?» – он мне ответил: «Она должна сниматься попозже…»

Зная, что Ксюша не снимается, особо много не играет в театре, я написала сценарий «Поэтессы Серебряного века». И мы с ней это играли. Я была за хор, а она проживала роль. Ей сделали платье, я расшила его кружевами. Всё было исполнено на самом высоком уровне. Ксюша очень хорошо читала стихи и всё делала замечательно. Были потрясающие фотографии, я ей сказала: «Больше у тебя таких потрясающих фотографий не будет, Ксюша!»

У нас с дочерью сложные отношения. Как мама я ей прощаю

всё. И это, мне кажется, естественно. Как артистка – нет, в профессиональных вопросах я не иду на компромисс, поэтому у нас случаются очень серьёзные конфликты. А ещё курение. Когда вижу дочку с сигаретой, просто скукоживаюсь и ухожу.

Недавно просматривала свой архив и наткнулась на письмо, которое писала Ксюше. Не знаю, почему я его не отправила. Но вот – письмо сохранилось. Мне кажется, что в нём отразились наши отношения…

«Здравствуй, моя дорогая доченька! Буська, как я рада, что ты мне написала письмо, я уже думала, что ты мне и не напишешь. А тут вдруг на двух листах. Я его много раз перечитывала, старалась вникнуть в твоё настроение.

Ксюня, никто никогда никем не занимается и никто никому не нужен. Режиссёр ставит **свой** спектакль (если нет там его любовницы… ка), профессор выколачивает деньги или славу из **своего** предприятия. Занимается человек собой **сам.** Можно заниматься 28 часов в сутки (и тогда хороший результат), можно – 8 часов в сутки (менее хороший), а можно и полчаса. Когда проходит испытательный срок, как ты сейчас, то решающий аргумент в твою пользу будет – сколько времени ты тратишь на **свою** профессию. Я говорю азбучные истины, я их говорила много раз. И это единственный рецепт от неуспеха, от невезения, от скуки, от грызни, которые живут рядом. Занимайся собой, своей профессией! Ты отрываешься от пустых разговоров, кухни, злости – в небо, к своей профессии через труд.

И ещё. Поедешь ты в США или нет – не имеет значения. Ну поедешь, ну купишь ещё юбку – ерунда, а вот красиво петь – это божественно! Или двигаться, чтобы тело пело, – это тоже божественно.

Как я живу? Очень скучаю по тебе, очень, особенно по вечерам. Репетирую у Виктюка, теперь я узнала его поближе и увидела его проблемы. Ему не звоню, жаль времени на кручение диска.

С Анной Шишко мы всё-таки затеваем передачу о ещё одной поэтессе русского зарубежья, она жила последние 25 лет в Париже, и у нас в планах махнуть туда на съёмки.

Я взяла кота, его зовут Мюзлик – Малыш по-русски. Он без хвоста, из породы кхмерских кошек, розово-бежевый, красив, как лев. Ничего, кроме сырого мяса и сырой рыбы, не ест – хищник! Спит со мной в ногах, и мне не так одиноко.

Я послала своим родственникам в Варшаву письмо с просьбой прислать приглашение – хочу приехать к тебе на 5–7 дней, ночевать, конечно, у них. Что тебе привезти? Вот, моя маленькая Ксюня, и все мои новости.

Мне ничего не надо. Питайся фруктами и овощами. Мне так бабушка всегда писала из Сибири: «Питайся, не экономь на еде!» У нас цены скачут. Что будет? Но скоро пост, с 9 марта, постараюсь его держать и вообще мало есть. Надо похудеть для роли поэтессы.

Целую тебя. Пиши мне. Твоя мама».

Когда мы разошлись с мужем, был суд, но я на нём не присутствовала. Я не ходила по судам. Лёня мне сказал, что будет какую-то сумму давать на алименты. Эта сумма была фиксированная. Я согласилась: «Хорошо, и не надо мне больше».

Через 20 лет, в 1997 году я купила дочке квартиру Бывший

муж в этом никак не участвовал. Он не дал ни рубля, ни копейки.

Ксюша мне заявила, что у неё не будет личной жизни, если она останется жить со мной. И тогда я собрала все деньги, которые у меня были. Я достала свои запасы, они хранились дома, в чулке, выложила перед Ксюшей и сказала: «Считай!» Ещё заняла у кого-то. И мы успели купить маленькую очень непрезентабельную квартирку до дефолта. Она стоила совсем недорого и, главное, находилась возле театра, куда приняли Ксюшу.

И личная жизнь у Ксюши случилась. Появилась Настя. Правда, не сразу.

Ксюша первый раз вышла замуж за прекрасного молодого человека. Прожили они год, потом всё разладилось. То ли с родителями мужа отношения не сложились, то ли были ещё какие-то причины, но семья распалась.

Она ушла от него, а он, мне кажется, хотел сохранить семью. Когда дочь ушла от него, он пришёл, но она даже не открыла дверь. Это было ужасно. Ксюша стояла по эту сторону, а он бился в дверь. Дочь была непоколебима. Я ей сказала: «Если ты ему сейчас не откроешь, то это конец. Ты готова к тому, что это конец твоей семейной жизни?» Она сказала: «Да». Они расстались.

Потом у неё был гражданский муж. Красавец, актёр. Он мне сразу понравился. Его папа жил в Петербурге, мама от них ушла.

Они начали вместе жить, что называется, для себя, а во мне уже проснулась будущая бабушка. Я даже в интервью на вопрос о том, хочу ли я что-то изменить в своей жизни, честно отвечала: «Только стать бабушкой!»

Но молодым, похоже, и так было хорошо. Им нравилось жить для себя. И тут я уже начала зудеть и приставать к Ксюше: «Почему у тебя нет детей? И муж есть, и квартира… Тебе надо лечиться…» Она сказала: «Какая ты, мама, это неприлично, что же ты при нём говоришь, что мне надо лечиться…» – «Да, надо лечиться, потому что женщина без детей – это не женщина!»

И опять она у меня играла в спектакле «Внезапно прошлым летом» по Теннесси Уильямсу, потому что наша героиня отказалась, и Виктюк решил: «Да, введи Ксению». Мы ездили и с этим мальчиком её, и с ней. Но спектакль был не очень, имел небольшой резонанс. Мне кажется, мысли Уильямса о двойственности мужского менталитета оказались не очень востребованы у нашей публики.

Мы мотались в Барнаул, Якутск, другие города. Мы всё равно играли, получали какие-то деньги. А потом Ксюша вдруг сказала: «Ну, вот ты хотела, кажется, внука или внучку? Всё будет нормально…» Через месяц я побежала покупать детскую

кроватку. И тут я уже постоянно спрашивала: «Ксюшенька, как ты себя чувствуешь?» И из моего дома шла полная «труба» продуктов и всего-всего…

Я возила дочь в Париж, мы ездили на гастроли и с «Поэтессами Серебряного века». Я была так рада, что у неё будет ребёнок!

Мы были с Ксюшей на даче. До родов оставалось, наверное, пару недель. Я обожаю свою дачу, там я чувствую себя счастливой, но тут меня что-то заставило срочно собираться в Москву. Я сказала дочери: «Всё, возвращаемся домой. Тебе надо к врачу! Мы ещё не знаем, где ты будешь рожать». И мы поехали.

В ту же ночь у неё начались роды. Всё в точности как у меня, абсолютно. Когда у меня всё так же начиналось, я была спокойна, сдержанна, не волновалась нисколько. Я позвонила знакомому врачу, и он обещал, что когда мне придёт время рожать, приехать в Институт акушерства и гинекологии на Пироговке. Когда я почувствовала приближение родов, набрала домашний номер доктора. Трубку взяла его жена Галя. Я сказала: «Галя, я еду в роддом. Коля обещал приехать». Она мне ответила: «Валя, „Динамо” проиграло „Спартаку”, и Коля лежит в кусках. Не волнуйся, он проспится и приедет к тебе». – «Так я рожаю…» – «Валя, он сейчас не в состоянии…»

Вот Россия…

Настя в образе – не знаю, в каком

Вообще, у меня такое ощущение, что все мужчины, которые меня окружали в России, неважно кто, пили страшно…

И ещё беспросветная бедность в провинции. Сколько я помню себя в Сибири, всегда была нищета. И даже сейчас ничего не изменилось.

Так вот, у Ксюши всё развивалось как у меня, по тому же сценарию, но с единственной разницей: если тогда я была спокойна и держала себя в руках, то тут я абсолютно потеряла над собой контроль. Я бегала по квартире и кудахтала, что-то кричала. Ксюша позвонила директору театра (его жена – врач-гинеколог), а он уже сообщил своей жене. Она дозвонилась до роддома, и мы поехали…

Ксюшу била лихоманка, и она просила, чтобы ей сделали кесарево сечение. Она дико боялась боли. И когда мы приехали в роддом, к нам подошла доктор в возрасте, такая советская, хорошая, и спросила: «А при чём здесь кесарево? Сама родит…»

Ба-бах! Услышав эти слова, Ксюша упала в обморок…

Тут уж я взмолилась: «Я прошу вас, я умоляю, пожалуйста…» Она говорит: «Да? Ну, раз так, давайте будем делать кесарево…»

Ксюшу увели, а я пошла на улицу. Это было лето 1999 года. Жара стояла несусветная, даже ночь не приносила особой прохлады. Ни ветерка, ни дуновения. Только густая, как патока, духота.

Я легла на скамеечке, подложила руку под голову. У меня не было больше сил. Все медсёстры выходили из роддома и видели меня. Они подходили ко мне и предлагали: «Валентина Илларионовна, пойдёмте к нам, у нас чай, кофе…» – «Ничего не надо, принесите валерьянку…»

Так я пролежала на свежем воздухе несколько часов, а сестрички периодически пытались зазвать меня к себе. Уже в пять утра, когда, наконец, стало прохладно, они опять подошли: «Валентина Илларионовна, у нас там подушка, вы хоть приляжете…» И тут я сдалась. Пришла к ним, и они мне обещали: «Как только все произойдет, мы вас сразу поднимем…» Я легла на подушку, они меня прикрыли, выпила валерьянку. Время остановилось. Я закрыла глаза, но даже на секунду не удавалось забыться. Эта короткая летняя ночь оказалась такой длинной… Она тянулась и тянулась без конца.

И вдруг слышу: «Валентина Илларионовна, пойдёмте…» И я пошла. Помню пустой длинный коридор, мои босоножки стучали по полу. Меня привели в палату, оттуда доносился детский крик. За перегородкой отмывали это орущее существо и привязывали к

ручкам и ножкам бирочки. Нашего младенца быстро запеленали умелые руки. Мне протянули живой конвертик, и существо вдруг прекратило орать. Это было потрясающе. Я не знала, что делать с малышкой.

Настя, ей 7 лет и я, Валя, бабушка

Как сквозь вату до моего сознания достучались слова: «Если вы хотите пообщаться с дочкой, надо немножко подождать. Она ещё не отошла от наркоза. Вы к ней зайдёте чуть попозже».

В 9 часов утра Ксюша пришла в себя после наркоза. Я вошла к ней в палату. Она спросила: «Мама, на кого она похожа?» Я сказала: «К сожалению, на него». Сходство читалось сразу. Ксюша громко вздохнула: «О, блин». А он ушёл от неё, когда она была на шестом месяце беременности.

Так у нас появилась маленькая девочка. Моя внучка. Я как-то мягонько намекнула Ксюше: «Может быть, назовёшь дочку Настей? Ты же любила бабушку, и бабушка тебя любила». Для меня было неожиданно, что Ксюша согласилась. Она же своенравная, своевольная. И привыкла поступать по-своему, часто наперекор мне. А тут она сказала: «Да, пусть будет Настенька!»

Была жуткая жара, Ксюша с Настей приехали, конечно, ко мне. И я в шесть утра каждый день мыла пол во всей квартире,

чтобы было прохладно. Занавешивала все окна от солнца. И мы пережили это летнее пекло.

У нас есть добрый ангел по имени Шура. Не знаю, как бы мы справились без Шуры. Для меня она Шурик. Я играю в моём родном театре, езжу на гастроли, снимаюсь в кино. У Ксюши тоже и театр, и съёмки. А Шурик нам помогает с Настей.

Когда Насте исполнилось примерно 4 года, она вдруг стала выдавать такой текст: «Я тебе казала, налий мне борща…», «Я не буду сидеть на этой стулке…» И я поняла, что Украина в лице Шуры мощно входит в наш дом и в лексикон Насти.

Что было делать? Сказать Шуре? Боже упаси, обидется, уедет. И я придумала отличный выход из сложной ситуации. Завела разговор с Шурой: «Знаешь, у нас тут детский сад, через дом. Мы отдадим туда Настю. И ты будешь свободна с девяти до пяти. Отдохнёшь, сходишь куда-нибудь. Ну нельзя же быть всё время с ребёнком! Заберёшь Настю из детского сада, погуляешь, потом ты её накормишь и уложишь спать». Она сказала: «Хорошо!»

Ребёнок пошёл в сад, и украинизм исчез.

А ещё раньше, когда Насте было всего три года, Шура нашла буквально через дорогу, в переулочке на Арбате, кружок по танцам, который расположился в подвале. Настя там с таким удовольствием занималась!.. Мне захотелось посмотреть на этот подвал. Я пришла туда и увидела, как не меньше двадцати пяти детей носятся как хотят. Такое броуновское движение. Я наблюдала за Настей – это был метеор, и я всё время думала, что вот сейчас она с кем-нибудь столкнётся. Но каким-то образом эти маленькие планеты детской галактики ухитрялись разминуться.

Потом я подошла к учительнице и услышала от неё такие слова: «У Насти большие способности к танцам, у неё хорошие природные данные. Я на неё рассчитываю. Пусть она обязательно ходит на занятия. Не знаю, что она выберет: спорт или танцы?» Я сказала: «Конечно, я не против, пусть ходит». И Настя стала посещать этот кружок.

В нежном возрасте моя внучка очень любила подходить к телефону. Я пыталась её разыгрывать: звонила и говорила другим голосом: «Будьте добры, позовите, пожалуйста, Настю Талызину». «Настя здесь! Настя здесь!» – раздавался в трубке звонкий голосок. Я перезванивала, чтобы услышать эту радостную трель: «Настя здесь!» На третий раз, стоило мне только произнести: «Позовите, пожалуйста…», как раздавался укоризненный голос внучки: «Ну не надо, Валь!» – «А я тебе кто?» – «Ну, бабушка ты мне!»

С первого класса у Насти не наблюдалось никакого таланта к

математике. Я пыталась ей объяснить буквально на пальцах правила сложения и вычитания, но ничего не получалось. Я у неё спрашивала: «Настя, сколько будет 7 плюс 3?» Она отвечала: «10». – «Правильно. А 3 плюс 7?» – «Одиннадцать». С этим ничего нельзя было поделать. Я поняла, что непонимание простейших арифметических действий происходит на каком-то физиологическом уровне.

Я устроила Настю в гениальный пансион при МГУ. Директор пансиона Гульназ Ивановна Сотникова мне очень понравилась. Увы, внучка проучилась в этом оазисе всего два года.

Ксюшенька-душенька послушала своего тогдашнего мужа Хаирова, который заявил, что пансион – это расслоение общества и Насте незачем учиться среди богатых. И из Классического пансиона её забрали в обычную ужасную школу Я сказала Ксюше в сердцах: «Ноги моей в этой школе не будет. Ни Талызиной-киноартистки, ни денег, ничего не будет… Ты всё взяла на себя…» И там она стала платить всем педагогам.

Так что с учёбой у нас было, мягко говоря, не очень. И я не питала никаких иллюзий, что впоследствии у Насти появится тяга к точным наукам. Зато от природы у неё были все данные, необходимые для балета. Я смотрела на внучку и говорила себе: у неё длинные ноги, очень красивая фигура и прелестная мордочка с зелёными глазами.

Две любимые артистки
У меня из самых близких.
Вечерами зависть гложет,
Я хочу в артистки тоже.
Вслед за бабушкой и мамой

Также буду самой-самой.

Со слухом я всю жизнь на «вы», но петь всё равно обожаю. Раньше, когда мы ещё жили вместе с дочерью, она всегда довольно жёстко пресекала мои попытки: «Мама, не надо!» Тем не менее я нашла в своё время очень хорошего музыканта – Серёжу Миклашевского, который терпел меня как певицу и делал замечательные аранжировки, так что я даже, бывает, пою в концертах. А Серёжа делал мне «маячки», где вступать. В «Мамаше Кураж» я пела вживую.

И в «Иронии судьбы» мы с Ахеджаковой тоже пели сами. У неё со слухом, по-моему, ещё хуже, чем у меня. Когда мы вступили, вся съёмочная группа поползла от смеха, и тогда побледневший Рязанов подошёл к Микаэлу Таривердиеву: «Это же твоя музыкальная сцена! Сделай же что-нибудь! Научи их хоть как-нибудь петь!» – «Их не научишь никогда», – поставил диагноз композитор Таривердиев.

С Лией Ахеджаковой мы знакомы сто лет, если не больше. Она тоже училась в ГИТИСе, в адыгейской студии, но её больше тянуло не к восточным красавцам, а к русским. Мы немного подружились, хотя большой дружбы между нами всё-таки не было. Лия всё время ходила с какой-то высокой полноватой девочкой.

После окончания ГИТИСа её приняли в ТЮЗ, где работала Таня Распутина. В то время Павел Хомский был режиссёром в ТЮЗе, а Лия играла в спектакле «Мой брат играет на кларнете». Играла блистательно. Наши театры были рядом, рукой подать. И опять мы пересекались. Потом Лия пришла на «Иронию судьбы». И снова мы встретились. Я ей говорила: «Ну, ты же понимаешь, что снимаешься у Рязанова». Она отвечала: «Мне всё равно».

А потом стали делать вторую «Иронию», в которой Лия не захотела сниматься. Объясняли её отказ по-разному, но мне кто-то передал её слова: «Первая «Ирония» – святой фильм».

Для актёров, которые участвовали в съёмках, Линн отказ не стал особой трагедией. А для меня это, можно сказать, была трагедия.

Но я всё время надеялась, что Лия всё-таки будет сниматься. Помню, что когда я спустилась с самолёта в Праге, а завтра уже начинались съёмки «Иронии», мой первый вопрос был: «Ну как, Ахеджакова согласилась?» – «Нет». Я была в обескураженном состоянии.

Я подошла и спросила: «Что мы будем делать?» Мне казалось,

что Лия в последний момент передумает. Тем более что идея сделать продолжение «Иронии судьбы», оказывается, принадлежит Андрею Мягкову. Он говорил, что надо сделать второй фильм, пока все ещё живы-здоровы…

Рязанов ему не советовал: «Андрюша, нельзя два раза войти в одну реку». А Первый канал думал, думал и на третий год решился: «Ну, давайте попробуем!» Восемнадцать раз меняли сценарий. Сценарист был очень талантливый. Снимать дали очень успешному режиссёру Тимуру Бекмамбетову. На мой взгляд, ему эта «Ирония» была не близка. Его стихия – стрелялки, блокбастеры. Но он очень профессиональный режиссёр и очень трепетно подошёл к съёмочному процессу.

Я спросила продюсеров: «Если Ахеджакова отказалась сниматься, то как мы поступим с её героиней Таней?» – «Мы решили, что Таня ушла в магазин». Я сказала: «Это обман, так со зрителем нельзя. Если Таня ушла в магазин, она должна прийти из магазина». – «А что вы предлагаете?» – «Или умерла, или уехала. Это будет точнее». – «Умерла? Но это же лирическая комедия!» – «Правильно, я и не настаиваю. Пусть будет, что она уехала». – «Уехала. А куда?»

Естественно, куда маленькая, чёрненькая может уехать?» Продюсеры уточнили: «В Израиль, что ли?» – «Естественно, всё нормально. Многие уезжают на свою историческую родину».

А Бекмамбетову мы сказали, что будто бы Таня очень тоскует сегодня по своей родной стране, по Ленинграду. И звонит всё время, чтобы узнать, как здесь у нас дела. Я даже текст придумала, что она всю пенсию тратит на эти звонки. Вышла правдивая история. И очень лирическая, кстати.

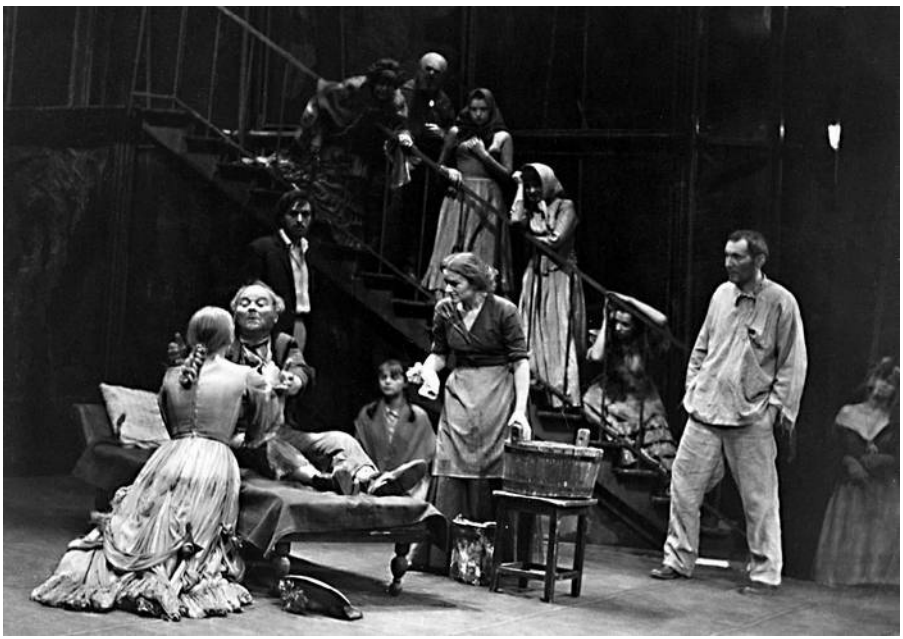
Начало 1990-х… Фильмы не снимались. Театры нищенствовали. Актёры выживали кто как может.

Буквально за четыре дня до начала съёмок мне позвонил режиссёр сериала «Петербургские тайны» Пчёлкин и предложил роль. Я сразу спросила: «Кто отказался?» Обычно приглашают хотя бы месяца за полтора, а тут в самый последний момент. Оказалось, Алла Демидова. Её не устроил нищенский гонорар. А я согласилась, потому что мне захотелось разрушить стереотип в изображении старых аристократок.

Вскоре после этого меня пригласили читать текст русского философа Ивана Ильина о русском языке на праздновании 1125-летия славянской письменности. Я читала на сцене Большого театра в сопровождении Свешниковского хора, который исполнял вокализ Прокофьева.

Потом наступил очередной период простоя. Я была близка к

отчаянию. И вдруг вспомнила Веру Петровну Марецкую, которой я однажды пожаловалась, что меня перестали снимать. Великая актриса возмутилась: «Что ты тут передо мной ревёшь? Не такие беды переживали. И войну прошли, и разруху Подумаешь, не снимают. И у меня бывают простои. Однажды почти на два года „отлучили" от экрана. А я взяла и сделала программу на стихи Марины Цветаевой. Разве ты, молодая, талантливая, не сможешь сделать подобное?»



«Петербургские тайны». Савина, Слабиняк, я – Катерина Ивановна

Я не раз вспоминала наш разговор. И решила на пустом месте построить собственную программу чтеца-декламатора. Но кого из великих было выбрать себе «в жертву»? Я люблю поэзию, многих авторов помню наизусть. Но надо было выбрать такие стихи, которые были бы созвучны и мне, и зрителям, и безвременью 1990-х.

На одной из творческих встреч кто-то из поклонников подарил мне сборник Алексея Николаевича Апухтина. Открыла однотомник, прочла строки:

О, друг неведомый! Предмет моей мечты,
Мой светлый идеал в посланье безымянном

Так грубо очертить напрасно хочешь ты:
Я клеветам не верю странным.

А если ты и прав, – я, чудный призрак мой,
Я ту любовь купил ценой таких страданий,
Что не отдам её за мертвенный покой,
За жизнь без муки и желаний…

…Прочла и не смогла больше оторваться. Это было как наваждение. Сказать, что мне понравились стихи Апухтина, – ничего не сказать. Я заболела ими. И как в студенческие годы, помчалась за своими чувствами и сомнениями к режиссёру Роману Виктюку: «Помоги выстроить композицию. Какие стихи взять?» – «Нет уж, ты сама выбери самые-самые, которые тебе понравились. И потом мы вместе придумаем, что с ними делать дальше».

А дальше Виктюк меня надолго «потерял». Или я его.

Мне так хотелось побольше узнать об Апухтине! Как разгадать колдовство его строк? Я сидела в Ленинке, моталась в Клин, где находится Дом-музей Чайковского. В музейном архиве читала переписку Чайковского и Апухтина. Листала страницы воспоминаний Модеста Ильича Чайковского, брата композитора и первого биографа Апухтина.

Стихи Апухтина вдохновляли Чайковского на написание романсов «Ночи безумные, ночи бессонные…», «Ни отзыва, ни слова, ни привета…», «День ли царит, тишина ли ночная…».

Отобрав для композиции стихи, я прочла их Виктюку. Они ему тоже понравились, и он дал совет: «Теперь тебе надо найти пианиста и скрипача, которые будут музыкально сопровождать стихи. Звучит скрипка – ты читаешь стихи».

И я начала работу. Нашла музыкантов, которые мне помогали бесплатно, на одном энтузиазме. И мы сделали программу на час с небольшим. Но что дальше? Кому предложить, «как продать»? Я позвонила на телевидение, и мне порекомендовали режиссёра Анну Алексеевну Шишко. Договорились о просмотре программы в моём театре. Пришла белокурая молодая улыбчивая энергичная женщина с ямочками на щеках. Анне моя программа очень понравилась: «Это потрясающе! Будем работать, но необходимо устроить просмотр для моего руководства».

Мой Апухтин стал своего рода пробой пера. За программу нас хвалили, а Шишко вдруг спросила: «Валентина Илларионовна, а кто у нас следующий?» И я, не задумываясь, ответила: «Зинаида Гиппиус».

Мы начали собирать материал по творчеству Зинаиды Гиппиус, поэтессы Серебряного века. Но проблема заключалась в том, что две трети своей жизни она провела за границей, а снимать во Франции в 1990-е было нереально. Съёмки за границей – дорогое удовольствие. И работу пришлось отложить. А пока я предложила снять сюжет о поэтессе Анне Барковой.

Получилась интересная и необычная программа. Мы снимали Крутицкое подворье, дом, где жила поэтесса, Брюсов переулок, по которому она часто возвращалась из храма, тюрьму, где ей пришлось провести семнадцать лет.

Мы вели съёмку в разрушенной церкви XVI века, где крестили ещё Александра Суворова. Я должна была читать стихи на фоне руин. На меня всё это так подействовало, что я поняла: в моём исполнении это должно как-то отразиться. Не знаю, как объяснить, но вдруг я почувствовала какое-то мистическое единство строк Барковой, написанных в тюрьме, ауры разрушенного храма и моего голоса, звучащего в этих декорациях. В воздухе витало что-то от таинства молитвы. Я растворялась в сплетениях судьбы моей героини.

Как мне мешал контролирующий профессиональный взгляд режиссёра! Я тихим голосом попросила: «Аня, уйдите!» Так же тихо она спросила: «Почему? Зачем?»

Что сказать? Это было как если бы в консерватории застучал отбойный молоток. Я инстинктивно боялась, что мой настрой сломается и восстановить его будет сложно, почти невозможно.

Дальнейшее помню как в тумане. «Толстая! Уходи отсюда! Уйди, я сказала!» – грубо зашипела я на своего любимого режиссёра. Вспоминаю – и до сих пор стыдно. Стыдно, что нанесла хорошему человеку такую грубую незаслуженную обиду. И «уйди», да ещё «толстая», как будто я сама очень стройная! Потом много раз извинялась перед Аней за свой некрасивый поступок. Она поняла моё состояние и простила. Стихи и церковь подействовали на нас троих – на меня, режиссёра и оператора.

В квартиру Барковой на Суворовском бульваре нас не пустили. Мы постояли во дворе-колодце. Я представила себе, как поэтесса после семнадцати лет тюрьмы и лагерей в одинокой 14-метровой вечно полутёмной комнате пишет тончайшей прозрачности стихи. И в гулкой тишине двора я начала их читать.

Я продолжала мечтать о том, чтобы всё-таки вернуться к Зинаиде Гиппиус. И этот момент настал. Переплетения жизни двух поэтов – Зинаиды Николаевны Гиппиус и её мужа Дмитрия Сергеевича Мережковского – были такими насыщенными, что для их описания потребовался бы не один роман, но нам надо было

отобразить лишь тонкий, но важный пласт.

Я читала дневники, письма, книги Зинаиды Гиппиус. Меня буквально пронзили строки: «Не скрою, что я в ужасной грусти: люблю Францию, люблю Париж, а меня тянет домой, в Россию, и не хочу верить, что нити, связывающие меня с Россией, порваны».

И ещё: «7 декабря, в воскресенье 1941 года умер Дмитрий Сергеевич. Пишу теперь, когда моя жизнь кончена, это я ощущаю сознанием. Я пока ещё живу физически только, а потому смерти моей не видят другие, и понимают, и не могут понять… Последний наш разговор с ним. Я говорю: «Выше России – свобода». А он: «Без России мне и свобода не мила!»

Мне пришла идея начать съёмки в Великом Устюге. Ранней весной 1992 мы с Анной Шишко отправились в путь. Оттуда ещё не ушла зима, стояли сугробы, но уже не белоснежные, а опавшие, потемневшие. Поражали храмы, которые пережили и революцию, и войну. Помню храм Михаила Архангела в окружении сугробов и одну прямую улицу, которая к нему вела.

Мы страшно замерзли, проголодались: с утра ничего не ели. Но зато отсняли прекрасный материал. Заглянули в закусочную – закрыто. Официантка сказала: «Приходите через час». Я не люблю козырять своим именем, но тут пришлось сказать, что я народная артистка, снималась в «Иронии судьбы», что мы специально приехали в Великий Устюг, чтобы снять фильм о великой поэтессе, и спросила: «Мы замёрзли и очень хотим есть. Неужели вы нас не накормите?» Она ответила: «Сейчас есть только окрошка». Это, конечно, было убийственно – ледяная окрошка с квасом, хлеб и больше ничего. Хорошо, что у нас была с собой бутылка водки. Мы хоть немного согрелись.

А в мае мы поехали в город Белев, где родилась наша героиня. Ещё это родина Жуковского. Весь город утопал в цветущих яблонях, и они как-то маскировали грязь и неустроенность быта маленького провинциального городка. Потрясли разрушенные храмы с падающими крестами, которые порой лежали на куполах. Страшное зрелище. А вокруг чёрные избы – жуть! Нам надо было показать юную Гиппиус. Моя дочь Ксюша была ровесницей поэтессы. Мы одели её в чёрную юбочку, белую кофточку и снимали в этом городе.

Нам удалось найти гимназию, где училась Гиппиус. Сейчас там дом престарелых. Тоже зрелище – не дай бог. Внизу сидели рядком старушки с жестяными кружками. Они глядели на нас своими выцветшими, какими-то космическими глазами, в которых на первый взгляд не было никакой мысли, но в то же время от них веяло такой печалью уходящей жизни…

На втором этаже стояла куча коек, и на них, словно

арестантки, сидели бабушки. Помню одну с отстранённым, потухшим взглядом.

И тут нас осенило. Мы придумали, что Ксюша должна прийти сюда в красивом платье. Получилось, будто смешались две реальности: сегодняшний день с его нищетой и убожеством и время, когда наша героиня была молодой и счастливой.

Вспоминаю потрясающий городской музей. Директор подарил нам яблочную пастилу. На вид – буханка хлеба. Но на изготовление этого «кирпичика» уходит два ящика яблок. И делают такую пастилу только в Белеве. Отрезаешь кусочек, пробуешь – тает во рту Кисло-сладкий, нежный вкус. Ничего более вкусного я не ела. Нам рассказали, что пастилу делают по дореволюционному рецепту.

Мы снимали в Ялте, Петербурге, но обойтись без поездки во Францию было невозможно. Шёл 1993 год, и денег на такую роскошь не было ни у кинематографистов, ни у телевизионщиков. Но и не снимать в Париже было нельзя, потому что в этом городе поэтесса провела многие годы. Раньше я часто бывала во Франции и, может быть, ещё и поэтому остро ощущала, что чувства русской эмиграции можно передать только в Париже: нищету, бездомность, неприкаянность. Нас не могла спасти Прибалтика, в которой в советское время любили снимать Запад. Пришлось решиться на авантюру.

В то время ВГТРК руководил Олег Максимович Попцов. Попасть к нему на приём было трудно, и мы начали искать подходы. Нам повезло: нашёлся человек, который нам помог. Его помощница Людмила Владимировна сразу поняла, что у нас есть право на Париж, и устроила встречу с Попцовым.

Я знала, что все зависит от первой фразы, и сразу ляпнула: «Олег Максимович! Коммунисты нас никогда не пустили бы снимать во Францию. Неужели и демократы не пустят?» Этой фразой я его сбила с панталыку. Он не знал, что ответить. А мы торопились рассказать, что изучили архивы, сняли почти весь фильм, и только период эмиграции поэтессы остался за кадром.

И глава ВГТРК дрогнул: «Денег нет, но вы их получите». И нам оформили командировку – с билетами, суточными и т. д.

Чтобы хоть немного сэкономить, я остановилась у своего знакомого, графа Воронцова-Дашкова, а съёмочная группа разместилась в гостинице. Были два человека, которые нам помогали: Светлана Делиот и француз Даниэль, который часто нас возил на своей машине.

Мы нашли улицу, где жила Гиппиус, и её дом, место сбора кружка «Зелёная лампа», церковь Святой Терезы, кафе «Ротонда», куда она ходила.

Мы искали необходимые для съёмок места, я входила в кадр и читала стихи. Конечно, о гримёрке можно было только мечтать. Мне часто приходилось переодеваться в «полевых» условиях, то за углом дома, то за забором, то прячась за густым кустарником. Конечно, эмоционально было непросто менять свои одеяния с космической скоростью – чтобы никто не заметил.

Однажды после моего очередного «стриптиза» Анна Шишко вдруг сказала: «Валентина Илларионовна, посмотрите на ту женщину – одета как попугай, пёстрые рваные лохмотья, разноцветные сапоги и шляпка с перьями. Полная безвкусица. А ещё парижанка!» Я удивилась: «Аня, вы лучше на меня посмотрите!» А я только что за очередным забором стянула свою одежду и облачилась в наряд моей героини: габардиновый плащ, модный в прошлом столетии в Париже, на который набросила шкурку своего, ещё советского образца, соболька. Правда, Гиппиус носила рыжую лису, но такой у меня не нашлось. Зато у меня были модные туфельки с перепоночками. Всё своё, привезённое из Москвы. Плюс коричневая шляпка, которую нам одолжили в костюмерной Останкина. Ночью я учила стихи, а утром читала их в кадре.

Запомнилась съёмка в кафе «Ротонда». Мне надо было передать состояние женщины, которая внезапно узнала о смерти близкого, когда-то любимого человека. Я должна была читать стихи, посвящённые Философову.

Кафе «Ротонда» – модное место в Париже. Картины на стенах, зеркальные потолки, парижане за столиками. И вдруг горстка людей из России. Разрешения на съёмку у нас не было. Мы взяли фужер, налили воду, заказали чашечку кофе, и я в одежде по моде 1943 года начала читать стихи, а оператор – снимать. Все взгляды обратились на нас, но люди смотрели с симпатией. За час, что продолжалась съёмка, нас никто не «попросил». Мне даже казалось, что французы понимали смысл стихов Зинаиды Гиппиус – иностранки, заброшенной в их страну.

Потом мне рассказывали, что при просмотре фильма наши соотечественники в Париже плакали на этих кадрах. Иногда нам фантастически везло. Например, посчастливилось провести съёмку в доме, где жила Гиппиус. Правда, нынешние хозяева квартиры поэтессы куда-то уехали и она стояла пустая. Управдом готов был нам помочь, но в этой ситуации это оказалось нереально. И вдруг к подъезду подкатила машина, из которой выпорхнула миниатюрная брюнетка в норковой шубе и улыбнулась нам. И тут же Аня Шишко на смеси французского с нижегородским стала объяснять этой женщине цель нашего приезда. В ответ раздалось приглашение: «Проходите».

Она оказалась румынкой, дочерью знаменитого актёра Деми. А её муж – внук грузинской княжны. В общем, наша новая знакомая была почти что русская. И самое главное – её квартира находилась точно под квартирой Гиппиус. Стены, потолок, вид из окна, даже иконы – всё, как у поэтессы. Вообще дом был пропитан русской историей. Хозяйка доставала старинные иконы, альбомы с фотографиями, подсвечники, столовое серебро. Она провела нас по красивой внутренней лестнице на второй этаж. По этим ступеням ежедневно поднималась Гиппиус. А в конце она пригласила нас к столу. Мы были не в силах отказаться. Ведь экономили на всём, даже на кофе, и есть хотелось круглосуточно. Это был прекрасный ужин, с русским размахом, французским вином и румынскими закусками.

Церковь Св. Терезы расположена недалеко от музея Бальзака. От дома Гиппиус до неё рукой подать. Я представляла себе, как поэтесса входила в этот храм, что она чувствовала. Я думала о том, почему многие русские эмигранты, в том числе Бунин, выбрали именно этот храм. Да, он находился недалеко, но мне казалось, что были и другие причины. Я рассматривала деревья – пинии, такие в России не растут. Они, кстати, довольно мрачные.

Поставила в церкви свечи, помолилась за всех русских людей, которых судьба забросила на чужбину. А Аня и Саша выбирали место, где я буду читать стихи об одиночестве.

Меня поразило, что у Ани Париж, казалось, не вызывал восторга. Она как будто бывала здесь 150 раз! Она воспринимала город как декорацию для съёмок. Мы ей говорили: «Аня, это же Париж! Красота какая!» Она отвечала: «Ну да, хорошо, Париж, снимаем этот сюжет с нижней точки, а этот – с верхней. Вот здесь у них зелёная лампа. Тут они впервые войдут в храм».

Для неё было главное – хорошая телевизионная «картинка» и точная передача характера героиня.

Тогда же, в Париже, у нас появилась мысль сделать фильм о Бунине. На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, среди белых берёз и надгробий с крестами мы снимали могилу Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, а Аня нашла захоронение Ивана Алексеевича Бунина. Мы поклонились памяти великого русского писателя.

Вернувшись в Москву, мы начали перечитывать Бунина. И появилась идея – «Женщины в жизни Ивана Бунина». Никто не писал о любви так, как этот писатель. Кто-то даже назвал его эротоманом. В его стихах так много чувственности, интимных переживаний.

Сборник стихов Бунина я взяла на отдых, читала и думала:

«Стихи – это, конечно, хорошо. Но что делать со сценарием? Пока мы обходились без профессионалов. Не пора ли было пригласить настоящего сценариста?»

Но найти приличного сценариста, который согласился бы работать с нами без каких бы то ни было гарантий, было нереально.

И тут Аня Шишко, глядя мне в глаза, сказала: «Валентина Илларионовна, знаете что, лучше вас все равно никто сценарий не напишет. А я помогу собрать материал». Она похвалила бедную артистку Талызину, а та и впрямь решила, что лучше неё это никто не сделает.

Я засела за Бунина. Погрузилась в дневники, письма, стихи, рассказы. Всё систематизировала, разложила по годам. Но иногда я просыпалась в шесть утра от жгучей мысли: «Валя, на кого ты замахнулась? На самого Бунина! А если у тебя не получится?»

Читая жизнеописание писателя, мы узнали, что у Бунина были четыре «главные» женщины. Первая – Варвара Пащенко из Орла. Они вместе работали в редакции газеты «Орловский вестник». Вторую любовь Бунина звали Анна Цакни. Они встретились в Одессе, обвенчались, у них родился сын, который умер в пятилетием возрасте. Анна отличалась изысканной красотой. Третьей стала Вера Николаевна Муромцева, тоже законная жена. И на закате жизни Иван Алексеевич встретил Галину Кузнецову.

Сюжет о Варваре Пащенко мы снимали в Орле, где познакомились с удивительным человеком – Ириной Константиновной Костомаровой. Она была директором музея Бунина. Теперь надо было найти актрису на роль Пащенко. Мы выбрали Надю Горшкову, она была поразительно похожа на свою героиню. А в музее писателя мы увидели фотографию Варвары Пащенко в пилоточке из чёрного каракуля. Пилоточки, конечно, в нашем реквизите не было. И мы всё думали, ну где же нам раздобыть этот «пирожок», напоминающий шапочку стюардессы.

Сидим в гостинице, обсуждаем мизансцены, места съёмок – и вдруг входит женщина, и у неё на голове тот самый «пирожок». Мы кинулись к этой женщине. Я представилась: народная артистка Валентина Талызина. Дайте нам, пожалуйста, ваш «пирожок» для съёмки. Дама не выдержала напора и согласилась одолжить шапочку на сутки. И в час дня мы должны были привезти «реквизит» в гостиницу. В результате наша Надя Горшкова была вылитая Варвара Пащенко.

Директор музея Ирина Константиновна разрешила провести съёмки в кабинете писателя. Открыв дверь в очередную комнату, я почувствовала, что у меня перехватило горло – парижский

кабинет Ивана Алексеевича один к одному. Вообще в музее любовь к Бунину буквально сквозила, чувствовалось стремление всё устроить именно по-бунински. Директор нам призналась: «Вот только не знаю, какой вид открывался из окна на парижскую улицу. Как бы мне хотелось побывать в Париже и попасть в дом на улице Оффенбаха». К слову, потом это и случилось.

Мы снимали в этой комнате, я играла Веру Николаевну Муромцеву-Бунину. И поразительное дело – мистика какая-то – я словно ощутила, какими были последние дни русского писателя. Мне казалось, что Иван Алексеевич где-то рядом, и уходит, уходит…

Эпизод с Анной Цакни мы снимали в Одессе. Нашли дом Рибаса на 15 линии Фонтанки. Нам очень помогала Ирина Ялышева – художник по костюмам. Удивительно, но всё это время мы работали словно под счастливой звездой. Большое количество людей участвовали в нашей работе на общественных началах. За свой труд они не брали ни копейки. В Одессе у нас снимал оператор Юрий Лисин, а главным оператором-постановщиком фильма был Юрий Назаров, молчаливый, немного замкнутый, но очень интеллигентный и талантливый человек. Молодую Веру Николаевну Муромцеву сыграла дочь Анны Шишко Ольга. Она была очень похожа на свою молодую героиню. Мы сняли сцену первой встречи Бунина и Муромцевой.

Наши персонажи получились живые, они ходили, говорили, читали стихи, обживали пространство по заданию режиссёра. Шишко много раз репетировала каждую сцену, каждый эпизод, для неё важны были и облик, и прическа, и платье, а главное – характер. Анну Цакни сыграла Катя Коронцевич, Веру Николаевну я «взяла на себя», а Галиной Кузнецовой стала моя дочка Ксюша.

В Одессе произошёл разрыв Анны Цакни с Буниным. На кладбище нам удалось найти могилу, где похоронили их пятилетнего сына.

Как известно, Бунин не принял революцию и написал «Окаянные дни». Сцена отъезда Бунина из Одессы получилась пронзительной. Мы сняли море, маяк, это было прощание писателя с Россией.

Дальше сюжет перетекал к периоду эмиграции. И опять стал вопрос с поездкой за рубеж. Надо было идти на поклон к Попцову. Нам помогала безотказная Людмила Владимировна. Она говорила: «Сегодня не приходите. У Попцова плохое настроение».

У меня есть приятель Борис Павлович Измайлов. В то время

он руководил кассами Большого театра. Мы познакомились в Ялте. Стояла прекрасная погода, все загорали, отдыхали, и только я одна сидела и перечитывала произведения Бунина, его дневники. Что-то выписывала, что-то подчёркивала и даже бубнила вслух. А Борис Павлович подходил ко мне и вздыхал: «Валентина Илларионовна, солнце, море, а вы всё лежите и читаете, волны по вам скучают. Чем вы занимаетесь?»

Я сказала, что работаю над сценарием фильма об Иване Бунине. Борис Павлович отдыхал с сыном, а я была с дочкой. Мы познакомились, пообщались, даже подружились.

Всё же мы попали на приём к председателю ВГТРК Олегу Попцову. Увы, в этот раз он согласился выделить нам деньги только на оплату билетов в Париж и обратно. Надо было искать деньги на суточные, гостиницу, транспортные расходы.

Когда мы по-приятельски встретилась с Борисом Измайловым, он спросил, как идут мои дела с Буниным. И я не выдержала – пожаловалась, что надо снимать во Франции, а деньги нам выделили только на проезд. Честно говоря, я просто поделилась своими проблемами, не ожидая, что Борис Павлович мне поможет. В конце концов от него это никак не зависело. И вдруг мой приятель говорит: «Погодите-ка, сейчас ко мне должен прийти один господин, он практически олигарх. Подождите немного».

Вскоре появился посетитель – молодой, в серой норковой шапке, в пальто с собольим воротником. Весь его вид свидетельствовал, что человек преуспевает. Он взял стопку билетов на спектакли Большого театра, и тут Измайлов сказал: «Знаешь ли ты, дружище, великого русского писателя Ивана Бунина?»

Обладатель норки и соболей на мгновение застыл, а потом вальяжно протянул: «Ну кто ж его не знает…» Но по всему было ясно, что на самом деле он понятия не имеет о том, кто такой Бунин. Удивительно! О Бунине не слышал, зато покупает весьма недешёвые билеты в Большой. «Ну, а народную артистку Валентину Талызину из „Иронии судьбы” помнишь?» – хитро подкатился Измайлов. Кандидат в олигархи заулыбался: «Картину видел, и не раз!» – «Так вот, эта дама снимает фильм о Бунине, – указал на меня Измайлов, – а денег у артистов на поездку во Францию, конечно, нет. Представь себе, если бы тебе сейчас пришлось покупать билеты в Большой не по государственной цене, а у спекулянтов на улице. Представляешь, во сколько бы тебе это обошлось? Я тебе предлагаю пожертвовать разницу в цене на развитие культуры, причём не вообще, а конкретно на Бунина».

Я затаила дыхание. Знала, конечно, что Борис Павлович любит пошутить, но такого я от него не ожидала. И вдруг господин спокойно сказал: «Нет проблем!» Открыл портмоне и начал извлекать… доллары. Медленно и торжественно. Сотни отстегнул. Он нас просто спас. Этой добавки нашей съёмочной группе хватило и на гостиницу, и на питание, и на транспорт.

Актёр и режиссёр Андрей Смирнов, который мечтал сыграть Бунина, посоветовал нам съездить в Грасс. Маленький Грасс – родина французских духов. Именно в этом городке поселился Иван Алексеевич Бунин. И ещё мы узнали от Смирнова, что недалеко от Грасса находится вилла Бельведер. В эти бунинские места ещё не ступала нога русского человека.

А ещё в Москве мы познакомились с исследователем Бунина Александром Бабареко. Он написал целые тома о творчестве и жизни писателя. Этот человек о Бунине знал всё буквально по дням. Он рассказал нам о взаимоотношениях писателя с его последней любовью Галиной Кузнецовой. Они познакомились, когда ей было уже много лет. Галина передала Бабареко целый чемодан документов и писем. Галина Кузнецова жила в Америке, потом переехала в Мюнхен, где доживала свои дни.

А в Париже мы встретились с Рене Герра, который предложил отвезти нас в Грасс и помочь отыскать бунинскую виллу У Рене был и личный мотив: недалеко от Грасса в Каннах жила его мама. Мама Герра – мадам Жаннет – встретила нас тепло, даже испекла к нашему приезду французский пирог. А ещё она подарила нам с Аней по симпатичному платку и дала в дорогу по коробке с пивом и вином в маленьких бутылочках. А Аня сделала ей ответный подарок – серебряный перстень.

Монмартр, Париж

Вместе с Рене Герра мы через всю страну поехали в Прованс. Заглянули в Канны, в Ниццу, в родной город Рене Берр-лез-Альт. Городишко устроился на горе: всего 15–20 домов, и рядом с каждым – своя оливковая роща. В Грассе мы с трудом нашли виллу Бельведер. Сбежали с каменного спуска, подняли спускающиеся с деревьев ветки и увидели надпись «Вилла Бельведер».

Меня поразило, что вилла расположилась так высоко. Небо было так близко, что, казалось, до него можно было дотянуться рукой. Дом старинной постройки словно парил в воздухе. Было полное ощущение, что ты где-то над землёй. Отсюда Бунин смотрел на гряду гор Эстерель и тосковал по России. Я сказала Анне: «Вот эта высота помогла Бунину выжить».

И опять мы там встретились с пиниями. Я подумала, эти деревья напоминали Бунину, что он на чужбине. Ни берёз, ни елей, ни кустарников, ни акаций. Ничего. Только мрачноватые чёрно-зелёные пинии, которые росли, как атомные грибы.

В этом доме разворачивалась трагедия семьи писателя. Мы увидели спальню Бунина, его кабинет и маленькую спаленку Веры Николаевны. К нам зашла мадам Верно, дочь мэра Грасса. Когда ей было всего 17, она видела, как Бунин приехал на виллу после получения Нобелевской премии. Привозили ящики с шампанским, а потом уже пустые ящики складывали в маленький сарайчик. Мадам Верно видела фон Даминских, Рахманинова,

Гиппиус. Здесь было много праздников и пили тоже много.

Мадам Верно захватила старые газеты 1933 года, где были статьи о Бунине. Глаза Герра загорелись хищным блеском: он ведь был коллекционер, следопыт и привык добывать архивы русских эмигрантов, как кто-то выразился, за тарелку супа. За бесценок. И наивная Талызина сказала мадам: «А вы не хотите подарить эти газеты России, потому что они – особая реликвия для нашей страны». Герра ощетинился как тигр и стал кричать на меня: «Вы нищие, вы никогда не сможете заплатить те деньги, которые они стоят. И как вы вообще посмели заикнуться об этом?!» От этого крика у меня слёзы выступили на глазах. Ко мне подошла Шишко и сказала: «Валентина Илларионовна, Рене нас оскорбил. Мы что, уезжаем? Мы, конечно, русские, но не нищие».

Я рыдала и не могла остановиться. Но сквозь слёзы проговорила: «Снимаем, и снимаем ту сцену, где Вера Николаевна плачет». Аня дала команду «мотор», и у нас получилась правдивая натуральная съёмка с настоящими слезами. Вера Николаевна, узнав, что Иван Алексеевич смертельно влюбился в Галину Кузнецову, чувствовала себя глубоко несчастной. Молоденькую поэтессу Бунин поселил в своём доме со своей семьёй, и Вера Николаевна вынуждена была с этим смириться.

Потом мы попали на пустую виллу Жаннет, на самой вершине горы. Герра уже успокоился и тоже радовался, что мы нашли эту виллу А потом мы с Аней встали посреди виллы и сказали в камеру: «Дорогой Борис Павлович! Мы первые русские, которые приехали сюда! Мы здесь! Спасибо, что помогли!» Это была наша маленькая благодарность Борису Измайлову Потом мы подарили ему эту пленку.

Нам оставалось посетить русский собор в Ницце. Когда мы пришли на службу, то увидели там пожилых людей из первой волны эмиграции. Все с нами здоровались, а Оболенский даже помахал рукой. И там мы сняли последние куски монолога Веры Николаевны с её исполненными мудрости словами: «Пусть будет так, пусть будет Галина, если ему это надо… Если ему хорошо, то пусть будет так… Я согласна со всем».

Герра решил всё же объясниться с нами по поводу своей недавней горячности. Назовём это так. Он сказал, что мечтал о том, чтобы вилла Бельведер стала музеем Бунина. Шли переговоры с Россией, в которых он хотел участвовать. И опять напомнил, что русские стремятся заполучить всё бесплатно. Это, мол, их национальная черта, в отличие от самого Герра, который «всегда за всё платит».

И тут он сделал потрясающее признание, что, когда умерла

Кузнецова, он ночью гнал свой автомобиль до Мюнхена и вошёл в этот дом в предрассветный час, но с ужасом понял, что его опередили. Там кто-то уже побывал. Потом он показал нам фотографию и разрешил её переснять. Это был снимок Галины Кузнецовой и Марго Степун, к которой Галина ушла от Бунина.

На обратном пути мы опять заехали к мадам Жаннет – маме Герра. И снова она напекла нам в дорогу пирогов, упаковала бутылки пива.

А в это время Аня Шишко была буквально одержима Марией Башкирцевой. Ей хотелось создать на основе инсценировки народной артистки России Татьяны Еремеевой, вдовы народного артиста СССР Игоря Ильинского, фильм-спектакль об этой русской художнице, прожившей всего 25 лет и оставившей после себя десятки дневников и картины, которые находятся в музее Жюля Шерре в Ницце. А мы как раз попали в Ницце в этот музей. Вдруг Герра говорит: «Тут написано в объявлении, что снимать нельзя».

«Нельзя», «запрещено» – как часто нам приходилось слышать эти слова! Но безвыходных ситуаций не бывает. И мы придумали поставить одного «соглядатая» в первом зале, второго, соответственно, во втором, а в третьем наш оператор Юра должен был снимать без остановки. Договорились, что при появлении служителя первый «соглядатай» моментально сообщит об этом второму, тот – Юре, и мы быстро «линяем». План удался. Мы сняли картины Башкирцевой. И Герра, обвинявший нас накануне в хамстве, невоспитанности и жадности, с азартом включился в нашу «воровскую» игру.

Когда мы, взмокшие от напряжения и переживаний из-за нашей противозаконной съёмки, вышли наконец на улицу, я не удержалась и подколола Герру: «Как же вы быстро включились в нашу русскую игру. А ещё и помогли нам». На этот раз Герра промолчал.

Мы выполнили все свои планы, сделали фильмы о четырёх поэтах. Вроде бы можно было расслабиться. И тут общество книголюбов пригласило меня в Пермь. Встреча проходила в гимназии, которая раньше была родовым домом Дягилева. Гимназия занимала половину комнат, а в остальных располагался музей Дягилева. И тут меня осенило: здесь мы начнём снимать фильм о Дягилеве. Меня переполнял восторг от того, что наш русский человек из Перми прославился на весь мир. Приехав в Москву, я сказала Анне: «Мы делаем Дягилева!»

Мы поехали в Пермь снимать снег. Я позвонила Виктюку: «Сценария нет, изучаем биографию Дягилева. Что нам снимать в Перми?» Виктюк был щедр, он никогда не говорил: «Это моя идея,

дайте за неё деньги». Сказал: «Снимай мальчика, гимназиста. Нужна гимназическая форма. Это будет детство в Перми».

В Перми мы нашли мальчика, который похож был на Дягилева. На центральной площади увидели ледяной дворец и решили: мальчика снимаем здесь. Поразительное совпадение: ледяная постройка, в проёме которой снимали мальчика, оказалась точной копией памятника Сергею Дягилеву на его могиле в Венеции. При монтаже Аня соединила два плана – ледяной и мраморный памятники.

В Петербурге, в Пушкинском доме я работала с архивом Дягилева. Мать Сергея умерла при родах, он воспитывался отцом и мачехой, которая сочиняла маленькому Серёже сказки. Я обнаружила письма Дягилева детской поры и прочитала такой абзац: «К нам на дачу всё время приходит дядя Иван Павлович. Мы играем с ним, это очень интересно. А совсем недавно он принёс мне книгу „Ледяной дом” Лажечникова». Но мы ведь сняли ледяной дом!

Гадалка нагадала Дягилеву, что он умрет у воды, и для картины нам надо было снимать в Венеции. Опять помог Попцов, который полностью оплатил командировку в Италию.

Из Рима на поезде отправились в Венецию снимать могилу Дягилева. Мы с Аней решили, что фильм будет построен на сказках мачехи, где наш герой будет Иваном Царевичем. Попросили у Андриса Лиепы фрагменты восстановленных балетов Дягилева. На памятнике балетмейстера выгравированы слова: «Венеция – вдохновительница нашего успокоения».

Наш путь лежал в отель «Эксельсиоре», где умер Дягилев. Отель находится недалеко от Венеции, на острове Лидо. В отель нас не пускали. Швейцар сразу сказал: «Никогда!»

Я и Шишко возле отеля «Эльсинор», где скончался Дягилев

И тут Аня показала чудеса дипломатии, а может быть, женственности. Она уговорила портье пустить нас в отель.

Мы быстренько проскочили, чувствуя себя не в своей тарелке. Всё время было чувство, что нас сейчас «попросят». В кружевах и белой рубашке я читала стихи, и вдруг мы видим: к нам бежит целая стая во главе с директором гостиницы – с криками, размахивая кулаками: «Убирайтесь отсюда немедленно!» Но мы уже сняли всё, только вестибюль не успели. Они нас не только выгоняли, но и требовали отдать плёнку. Наш оператор Юра Назаров вцепился в камеру и боком отходил к выходу. Оказалось, что Юра всё-таки успел снять вестибюль…

Мы нашли греческую церковь, где отпевали Дягилева, Коко Шанель, и прошли длинный путь к кладбищу Сан-Микеле. Я знала, что балерина Алисия Никитина приходила на могилу Дягилева и оставляла ему письма. Мы нарядили Таню Гапечкину, нашего музыкального редактора, в траур, и она пошла к могиле. Там, кстати, и сейчас лежат на камне маленькие розовые балетные туфельки.

Венеция

Мы жили в отеле, которым владели две старушки. Общаться было невозможно, потому что мы не знали итальянского. Мы даже там не обедали – для нас это было дорого. Отель был третьеразрядный с каменными полами, необустроенными

туалетом и ванной. Стояла холодная погода, выпал снег. Мы рано вставали и уходили снимать пустую Венецию.

Наш оператор Юра нас спасал. Часто он говорил: «Девушки, я вас прошу к себе в номер». Он раскладывал на газете колбасу, резал хлеб большими толстыми кусками, разливал литровую бутылку лёгкого вина, и мы кайфовали. Эта газетка с закуской напоминала нам о России. Юра покупал всё за свои деньги, и мы были очень благодарны ему за эти маленькие праздники.

Венеция, снимали телепрограмму «Правда и поэзия Дягилева»

Когда мы показывали свои фильмы в Большом зале Центрального дома работников искусств, приходило огромное количество людей. Мы встречались с публикой. И все поражались, как точно нам удавалось оживить картины той жизни. Символом картины была жар-птица. Мне кажется, нам удалось воссоздать живое присутствие Сергея Дягилева. Наверное, так было со всеми нашими героями. Мы страдали вместе с ними, теряли, приобретали, творили, пытаясь и зрителей сделать соучастниками их переживаний.

Мне очень повезло. Я много снимаюсь, играю в театре. Сейчас у меня прекрасная роль в пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Недавно была премьера – полный зал.

Моя любимая внучка Настя учится в прославленном

хореографическом училище, откуда вышли знаменитые балерины Большого театра. Помимо этого я нашла ей гениального педагога – Елену Николаевну, у неё потрясающая Вагановская школа, я на этого педагога буквально молюсь.

«Свадьба Кречинского». Атуева и Муромцев

Для того чтобы Настя могла заниматься у меня дома, я настелила в гостиной линолеум и поставила балетный станок. То же самое устроила у себя на даче. Балерина, даже маленькая, должна всегда быть в форме.

Я смотрю, как она танцует, и в сердце поднимается тёплая волна. Наверное, это и есть счастье.

…Вот, собственно, и всё, что мне хотелось рассказать. Конечно, какие-то события в силу разных причин остались за кадром. Я не пыталась ничего приукрашивать, здесь всё – от первого до последнего слова – чистая правда.

Мне многим пришлось пожертвовать ради моей профессии. Она не раз ставила меня перед жестоким выбором. И каждый раз я выбирала именно её.

Скажу честно: это было нелегко. И больше всего мне жаль, что я не смогла дать моим самым близким людям столько внимания и любви, сколько они заслуживали.

Но если бы мне предложили начать всё сначала, я бы, наверное, не стала ничего исправлять. Моя жизнь сложилась именно так.

Послесловие

Народную артистку России Валентину Талызину я знаю без малого двадцать лет. Знакомство наше случайным не назовёшь. Однажды я позвонила ей с просьбой об интервью, с которого и начался наш телефонный «роман», который затянулся на несколько месяцев, напоминая то экзамен, то допрос с пристрастием.

Это я в своей гримерной. Киноартистка

Тогда мне казалось, что это – скрытая форма отказа, который делался неподражаемым, знакомым всей стране голосом. От этого, правда, легче не становилось. Временами хотелось верить злым языкам, утверждающим, что у Талызиной тяжёлый характер.

А ей просто не хотелось тратить время на очередное, как она считала, «дежурное» интервью. Валентина Илларионовна – человек глубокий, привыкший во всём доходить до сути. Если она готовится к роли, то будьте спокойны – раскопает всю подноготную своей героини. Такого же вдумчивого, серьёзного подхода она ждёт и от других.

Я стала ходить на её спектакли в Театре имени Моссовета, в

Школе современной пьесы, на сцене ЦДРИ. И Талызина, которую я знала большей частью по её ролям в кино, вдруг открылась с новой стороны.

Я чувствовала её мощную энергетику, бьющую через рампу, и ответную реакцию зала. Публика чутко отзывалась на каждое появление актрисы на сцене, и, казалось, что все букеты предназначались ей одной…

Зрители её любят. Она – безусловный бренд Театра имени Моссовета, которому служит с такой беспримерной преданностью, что её не смогли поколебать даже годы безролья.

Мы сделали не одно интервью – Талызина неисчерпаемая. И было ясно: она должна написать книгу, потому что ей есть о чём рассказать. Она сделала это честно, талантливо и беспощадно.

Её жизнь похожа на гоголевский смех сквозь слёзы. В ней было много потерь и много побед. Актриса выдержала испытание огнём, водой и медными трубами. Однажды выбрав свой путь, Валентина Талызина не отступила от него ни на шаг. И кстати, название книги – это тоже цитата из гоголевского «Ревизора».

Талызина – актриса. И этим все сказано.

Елена СВЕТЛОВА, журналист,

автор литературной записи

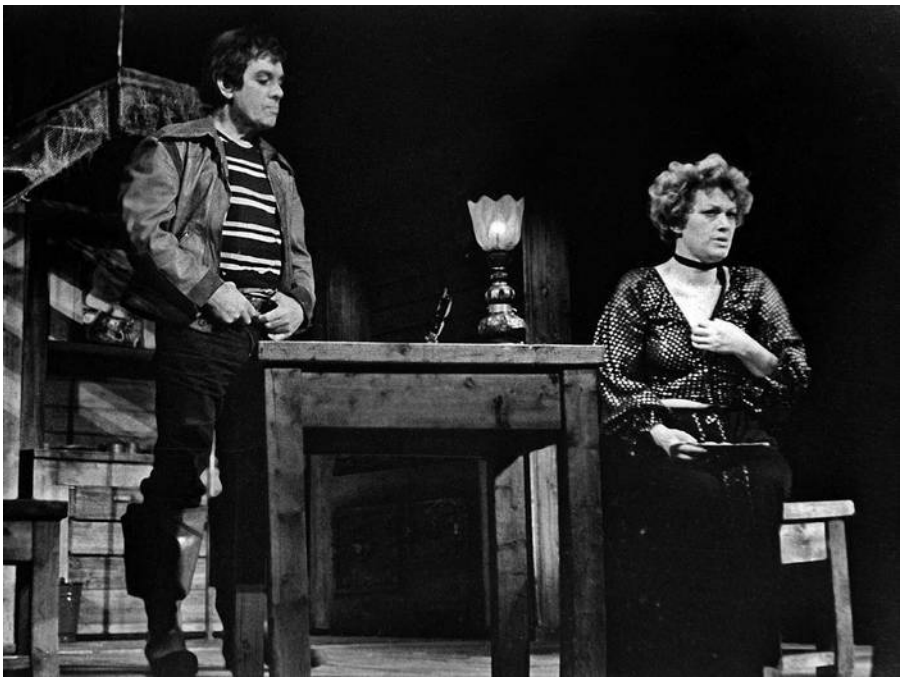
Из рецензий

«Царствие земное»

«В актёрском трио спектакля П. Хомского ближе всех подошла к своей героине В. Талызина. В её Мэртл больше всего движения. Талызина нигде не фальшивит. „Малютка-личность", как называли её в ночном клубе, оказалась человеком. Трагическая муза актрисы скромна, застенчива и правдива». («Советская культура», февраль 1978)

«Битва в пути»

«Дашу играет В. Талызина. Это её вторая роль. Курносенькая тихая девочка с жидкими косицами светлых волос, одетая в заношенную деревенскую кофту и нескладную юбку, держится как-то очень уж „незавлекательно". Но вот шаг за шагом идёт она по жизни. Сперва, утирая лицо платочком, плачет, что „гонит брак". Потом научилась, и уже увереннее звучит её робкий голос… Ещё немного, совсем немного – и расправит крылья большая женская душа». («Советская культура» 3 марта 1959)



«В угловатости и чистоте Даши (молодая актриса В. Талызина) – обаяние нетронутой юности. Упрямая, честная, почти

девочка, Даша Талызина лучится искренностью и человеческим теплом, которого так не хватает Бахареву – Погоржельскому». («Московский комсомолец», апрель 1959)

«Последняя жертва»

«Как луч света входит в это тёмное царство Тугина – В. Талызина. Актриса играет в мягкой лирической манере, но в наиболее драматических сценах спектакля её искусство достигает подлинно трагедийной силы». («Известия», 17 декабря, 1973)

«Чёрный гардемарин»

«Пожалуй, наиболее драматически глубоко ведёт свою тему В. Талызина, играющая роль Ольги.

Талызину в ролях деловых женщин, интеллектуальных общественниц, живых, оптимистических и любвеобильных женщин. Здесь актриса раскрыла иную сторону своего дарования – драматически-трагическую… Актриса поднимается на высшую ступень человеческой правды», (журнал «Театр», № 12, 1980)

Киновед Виктор Дёмин о Валентине Талызиной:

«…То же происходит и с „некрасивостью” героинь Талызиной. Они не чтобы очень уж некрасивы, тем более уродливы. Но они – опасно невзрачны. В той степени подлинности, когда иной, глядишь, покачает головой и вздохнёт: „Ну нашли же актрису, господи ты боже мой…”»

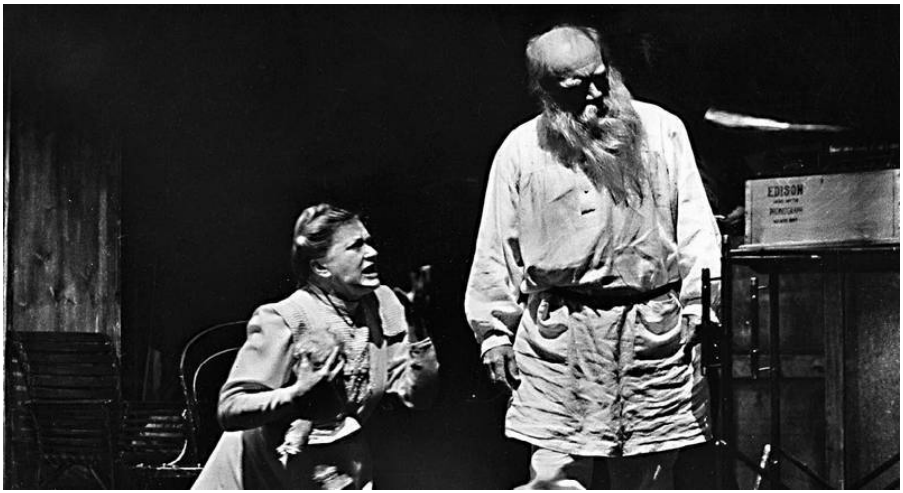
«Миссис Лев»

«Софью Андреевну Толстую в спектакле „Миссис Лев” Талызина играет по-тря-са-ю-ще!» (Виталий Вульф, газета «Культура», 1994)

«Мамаша Кураж»

«Бенефисную роль маркитантки Анны Фирлинг – мамаши Кураж – сыграла В. Талызина. Сыграла точно, горько, серьёзно». («Культура», № 19, 2000)

«Талызина играет Кураж так, словно в ней с самого начала всё опалено и выжжено войной… Она играет жизнь после жизни, остывающий пепел». («Вечерняя Москва», 16 мая 2000)



«Миссис Лев». Дуров – Лев Толстой, я – Софья Андреевна, выясняю отношения

«Валентина Талызина сыграла неутомимую маркитантку непривычно женственно. Да, в мамаше Кураж – Талызиной есть грубая прямота и цинизм видавшего виды человека. Да, в ней есть хитрость, беспринципность, жадность. Но в глазах актрисы столько печали и усталости от осознания того, как бывает несправедлива жизнь к судьбе маленького человека, что искренне сочувствуешь ей…» («Труд», 12 июля 2000)

«Мораль пани Дульской»

«Главная причина сходить на „Мораль пани Дульской” – сыгравшая главную роль Валентина Талызина». («Вечерняя Москва», 14 марта 2006)

«Мораль пани Дульской»

«Талызина нашла в пьесе свою тему и подала ее, как она умеет: весомо, зримо, с приглушенным комедийным блеском,

легко обойдя при этом на круг молодых партнёров. Что это за тема? Да всё та же, её любимая – упрямой жизнестойкости и, конечно, долга, будь он неладен, перед ближними», (журнал «Итоги», апрель 2006)

«Стержень спектакля, его идейный центр – пани Дульская В. Талызиной. То, что роль её, сомнений не вызывает. В игре актрисы есть лёгкость и изящество, точность и продуманность деталей, что не отменяет ни темперамента, ни сочных красок.

Дульская Талызиной – настоящий Тартюф в юбке…» («Дом актёра», № 107/2006)

«Валентина Талызина в роли хозяйки декоративного семейного гнезда, как и положено звезде, выходит на аплодисментах, но роль строит на своём собственном многоопытном запасе. Яркая, шумная, остроумная женщина, она вполне узнаваема и по-прежнему любима публикой. Но тот, кто видел её лучшие театральные работы, вправе ждать от актрисы такого уровня новых потрясений. Ведь Талызина обладает редким даром – она как раз умеет соединять несоединимое: быт и трагедию, буффонаду и драму. Возраст для неё не имеет значения – она никогда не стремилась в героини и роли свои выстраивала изнутри, обладая способностью подсвечивать своих героинь, предоставляя возможность увидеть зрителям самые потаенные грани своего таланта». («Новые театральные Известия», апрель 2006)

«Свадьба Кречинского»

Валентина Тальзина в роли тётки Атуевой – настоящая драгоценность этой постановки (Жанна Филатова) «Московская афиша», февраль 2012).

Стихи, посвящённые Валентине Талызиной

ЗВУК ДУШИ

Да, голос – сложное созданье:
То как алмаз горит и гранями играет,
Или блестит, как солнца луч,
То словно замирает
Среди житейских мрачных туч.

Твой голос – счастье и сомненье.
Все мысли и мечты – о нём.
Он – космоса творенье,
И Богом он благословлён!

Елена Носкова

Всё падало на голову мою,
И я сказала «бездны на краю»,
И я горела в гибельном огне,
И было страшно и бездонно мне.

И чтоб не спиться, не сойти с ума,
И чтоб не сбиться и не наломать,
И под чужую дудку не плясать,
Довольно было глянуть в небеса —

Ведь там – за болевым порогом дня
Не гаснет свет.
И ангелы хранят.

Наталья Ннколенко

(журнал «Алтай», № 3, 2011)

В.И. Талызиной,

н.а. России, замечательной женщине

Есть много актёров и масса актрис —
Талантливых, умных, спесивых.
Одни – из театров, другие же из
Кино, и ярких, и очень красивых…

А Вас мы узнали довольно давно
Не как театральную диву,
А как экстра-класса артистку кино,
Творящую образ красиво.

«Удачи зигзаг» стал удачей для Вас.
Как тонко, как умно играли:
За внешностью робкой – душа экстра-класс,
Её повторят ли? Едва ли…

В канун новогодний волнуемся мы,
И это, наверное, недаром,
Поскольку в разгар сибирской зимы
Мы смотрим опять «С лёгким паром»!

Когда Вы взойдёте опять на экран,
Когда пропадёт наша спячка.
Желаем Вам долго и мудро творить,
Любимая наша землячка!

Профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

В.Е. Новаторов

18.06.2012 г.

Иллюстрации

Привет из Омска

Это до войны

Конец 10 класса

Играть я не умею, это для понта

Сельхозинститут

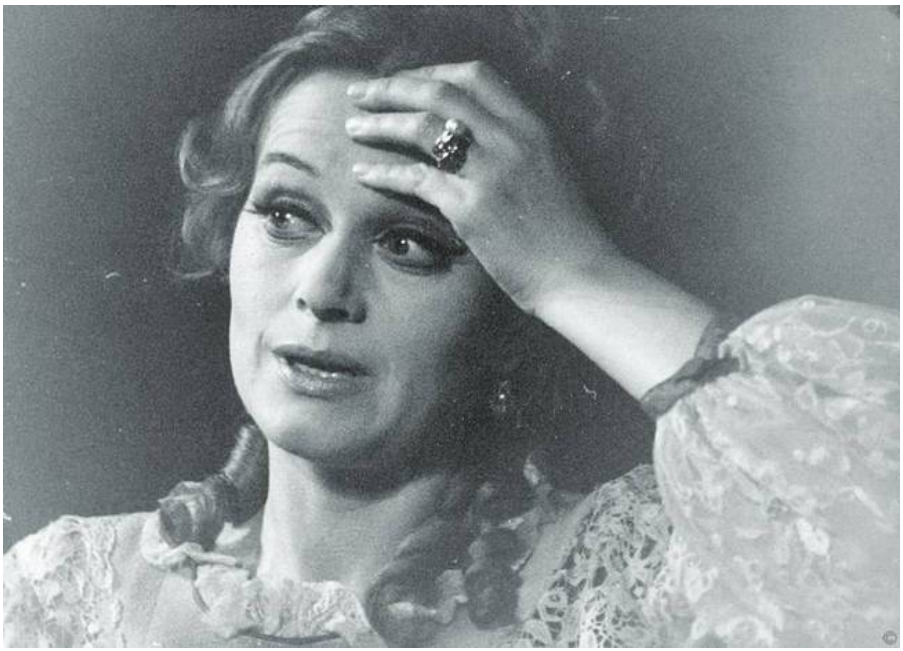
Закончила ГИТИС

«Виндзорские насмешницы». Анна Пейдж

Мама, дочка, папа

С Ксюшей

Хорошенькая



«Последняя жертва»

Царствие земное. МЭРТЛ

Кинопроба. «Иванов катер». Роль Еленки. Прошла

«Дядюшкин сон». Зина

После съемки «Зигзаг удачи»

«Зигзаг удачи». После него я стала известной. Бурков, Леонов, я, Скобцева

Финальная сцена в «Зигзаг удачи»

Я была счастлива вдвойне: и в кадре, и в жизни

Любочка Соколова, какая была женщина, какая актриса! И хорошо ко мне относилась

Съемки в Одессе. «По улицам то ли комод, то ли

слона возили. Этуш и я

Из спектакля «Лилиом». Мария

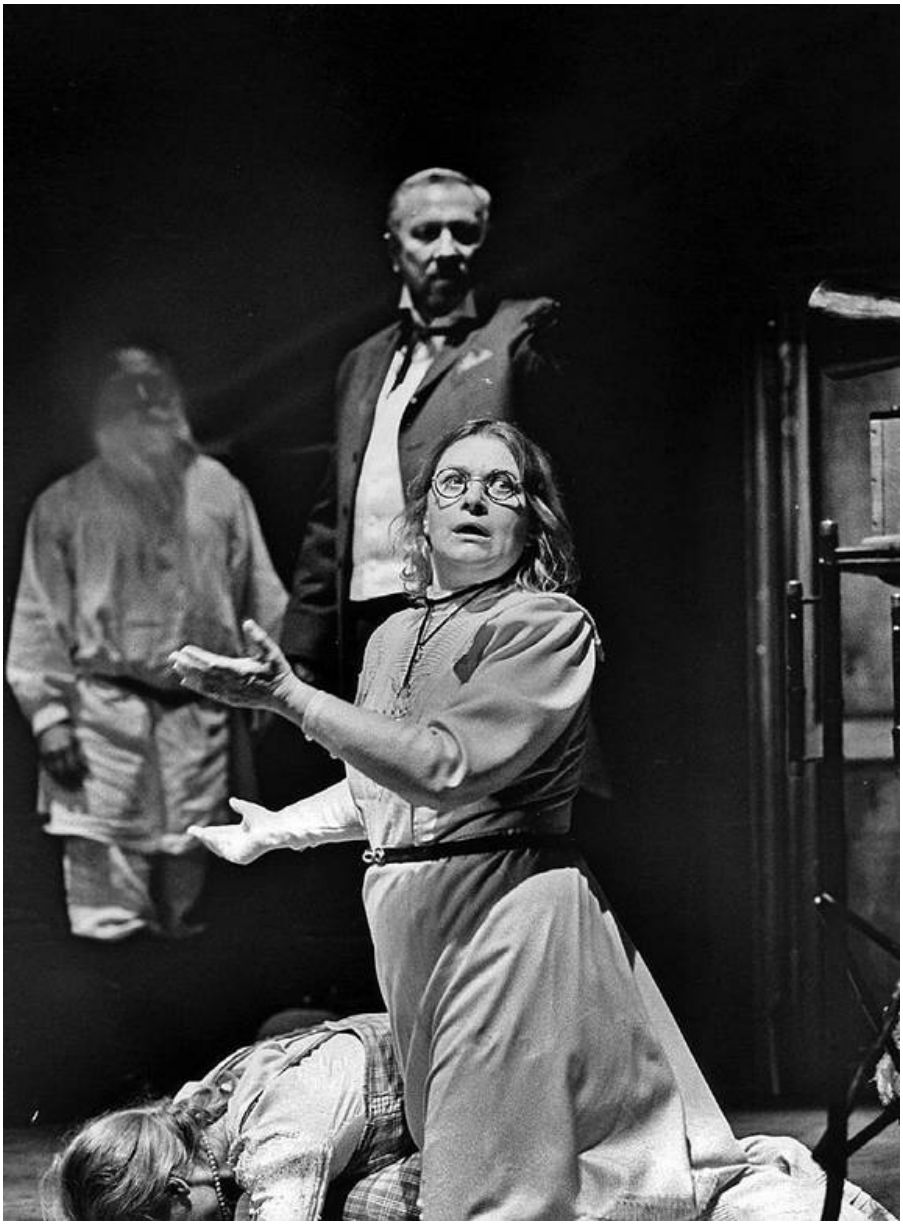
В жизни, артистка

«Мамаша Кураж», пела вживую

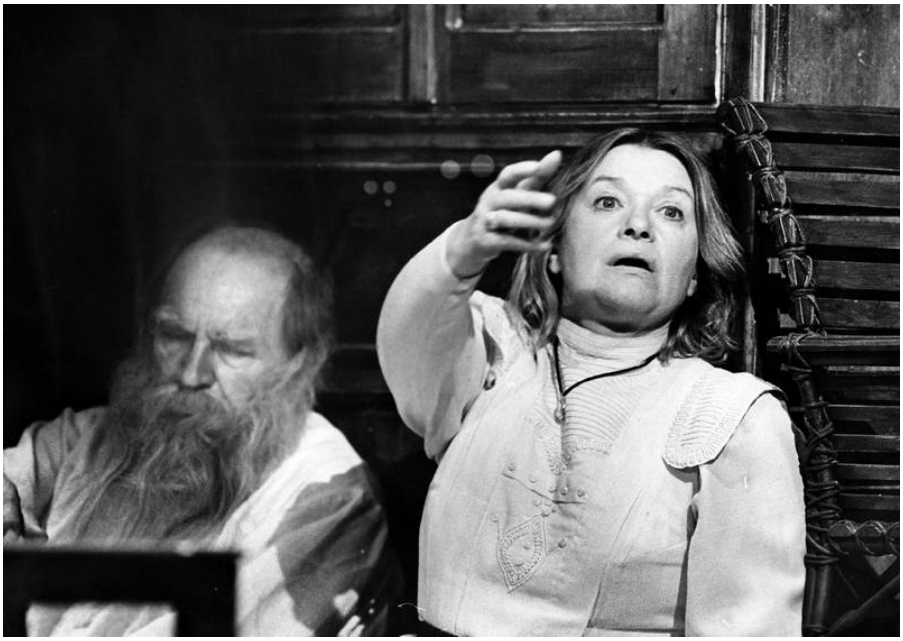
«Мамаша Кураж». Васильев хорошо играл любовь. Это моя нога у него в руках

В образе Екатерины II в спектакле театра им. Моссовета «Царская охота»

Абакан-юрта, в музее. 5 июля 2012 года. Привет Мирзе-Кучум Талдыгизину!



«Миссис Лев». Дуров, Качан и я



Сцена из спектакля «Миссис Лев»

Это мы клип снимали в Киеве. Гордон пел, а мы были массовкой

Гордон – главный редактор газеты «Бульвар Гордона»

Нина Русланова и я

На съемках фильма «Формула любви» у киевлян. Я – киноактриса, они поставили меня возле камеры

Спектакль театра им. Моссовета «Мораль пани Дульской». Я пани Дульская

Поклон после спектакля

Куманина Александра Федоровна в телесериале «Достоевский». За эту роль я получила «Золотого Орла»

Кинорежиссер В.И. Хотиненко и я. После съемок

«Золотой Орел». Второй

В гостях у Николая Коляды. Я выпила действительно, а он прикидывается. Коля хотел, да и я тоже, чтобы я сыграла у него в пьесе, но не случилось

С Толей Равиковичем на съемке в Севастополе. Мы муж и жена

Я, Селезнева и Маркова

Толкунова и я. В аэропорту «Шереметьево»

Настя – золушка. Предприимчивый фотограф носил с собой фонарь, туфельку и костюм. За это брал деньги хорошие. Моя любимая фотография

Это я на кухне, дома

Настя и кошки: Зина, Юстик, Ася, Нюра

Вася, Юстик и я

Это моя любовь. Мне 70 лет. Мой юбилей. Мы на сцене Дома кино

Это с моей доченькой Ксюшей

За кулисами Дома Кино. Мой юбилей. Был полный зал

Закончили съемки в Париже фильма обо мне. Мне 75

Париж

Мне 70 – юбилей в Доме кино